

ср
ГЕННАДИЙ ГОР

ДОМ

на Моховой



ЛЕНИЗДАТ • 1945

Л30 Г-1
404

Геннадий Гор

**ДОМ
НА МОХОВОЙ**

**ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЕ И КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1945**



Редактор *М. М. Смирнов*

*

Техн. редактор *Л. Г. Левоневская*

*

Подписано к печати 3/IV 1945 г. М — 00188
Тираж 10000 экз. Объем 5 печ. л. Зак. № 241
Уч. авт. л. 5,81 Тип. зн. в печ. л. 40416

*

РУ № 20 на базе тип. № 2 Упр. изд-в
и полиграфии Ленгорисполкома

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Опять заплакала, застонала, засмеялась в лесу среди дня ночная подлая птица.

И все переменялось сразу: березы погрустнели, река Ловать, с детства милая, стала незнакомой и немилым сделалось все — и поле, нестерпимо зеленое, льняное, и дорога, и небо, все, все — лучше бы не глядеть.

Утром тоже плакала, смеялась на весь лес подлая птица, на этом же месте и летала, пересекая дорогу то туда, то назад, словно предсказывая беду, когда Лида шла под руку с мужем. И воротилась бы Лида, сразу бы повернула домой вместе с Челдоновым, но не было другой дороги туда, куда они шли. А не итти было никак нельзя, Челдонов шел в Старую Руссу, чтобы сесть в поезд и скорее возвратиться в Ленинград, потому что вчера началась война, а Лида его провожала.

Ему надо было итти пешком сорок верст, все лошади и машины были заняты, и она была рада хоть тому, что они пробудут вместе еще один день, одни на дороге. Она думала, что

они поговорят, но он молчал. И она тоже ничего не говорила, а только смотрела на него, все смотрела и смотрела, будто боялась, что забудет его, когда расстанется, будто хотела запомнить его навсегда вот таким грустным, вихрастым, чуть постаревшим за ночь.

Они переехали Ловать на плоту рано, когда было еще темно и с полей, где пересекались дороги, и из деревень, мимо которых они проходили, доносились эхо и бабий плач. Но вот они поровнялись со сборным пунктом, там было весело, напевал патефон, стоявший в траве, и мужчины, прежде чем идти на докторский осмотр, подходили к огромной бочке, стоявшей на дороге, выпить пива. Остановились и Челдонов с Лидой, чтобы попить. Но к ним подошел молодой парень в форме работника НКВД и, взяв Челдонова под руку, отвел его в сторону и попросил предъявить документы. Челдонов показал паспорт, военный билет и бумажку, в которой удостоверялось, что он член Союза советских художников, но военный не поверил документам и стал его экзаменовать, и тогда только отпустил его и извинился, когда Челдонов назвал деревню, из которой он шел, и имя своей тещи. Тещу его знали не только в ее деревне. Лида думала, Челдонов обидится, что его чуть не приняли за шпиона, но Челдонову понравилась такая недоверчивость, а также порядок, который они видели, когда шли.

А когда они дошли до Рамушева, он сказал, что ей пора возвращаться, а то ее захватит по дороге ночь. Они только что говорили о прожитых вместе годах, о себе, о своем чувстве друг к другу, о всем том, о чем не говорили уже в последние годы, привыкнув и охладев друг к другу, и вот теперь стало вдруг очевидным ему и ей, что столько недосказанного осталось между ними, что не так они прожили последние годы, как надо было жить, видно забывая о том, что не вечно им жить вместе, что может наступить и разлука. И вот наступила война.

А он, всегда такой мрачный, вдруг стал веселым, стал шутить, посмеиваться над собой.

Она остановилась, поглядела на его так редко смеющееся лицо и рассмеялась плачущими губами, не зная как быть, плакать, смеяться или молчать.

И когда они уже простились и она пошла, он крикнул ей вслед ненужное, даже обидное: — Этюды мои сохрани!

Не о том следовало ему кричать вслед. Но отойдя немного, она догадалась, почему он кричал об этюдах, — дорогой, ненаглядный, он хотел, чтобы она не думала о том главном, о разлуке, о том, что она увидит его не скоро, а может и не увидит никогда.

Дорога пыльная, серая, знойная тянулась полями и перелесками от деревни до деревни. Сначала на дороге не было никого, кроме па-

стуха, перегонявшего лошадей, а потом догнала Лида незнакомую женщину с маленькой девочкой, едва за ней поспевавшей, видно и они провожали мужа и отца. Лицо у женщины было не веселое, длинное, некрасивое, как у многих деревенских пожилых женщин. Что-то сиротливое было в ее походке, в вылинявшей юбке ее, в ее белых, больших, потрескавшихся ногах. И стало жалко Лиде эту женщину и девочку тоненькую, невыразимо жалко, и жалость перешла в злость на того, из-за кого все горе, — на немца с бледным хитрым лицом и черными усиками, про которого столько писали, пишут и будут писать в газетах.

И странное чувство жалости к другим, а не к себе уже не покидало ее. А к себе, удивительно, не было жалости, словно ее, Лиду, не коснулось все это: и война, и Гитлер, и то, что Челдонов ушел. Какое-то спокойствие появилось на душе, ясность, как бывает после слез, когда горе где-то позади и забылось. Но это чувство спокойствия и ясности утвердилось в Лиде позже, уже на завтра, когда она надела старое платье и дырявые чулки и пошла косить вместе с другими женщинами, похудевшими и изменившимися за последние два дня, словно она всю жизнь прожила в деревне и никогда не уезжала в город.

Женщина с девочкой свернула влево и скрылась во ржи, Лида пошла прямо, все прямо

по направлению к Ловати, к белеющей в саду церкви. Когда она поровнялась с перелеском, где утром плакала ночная птица, сердце у Лиды вдруг забилось рывками от опасения, что птица заплачет, заголосит надрывно на весь лес. Так и случилось: опять заголосила подлая и вылетела из-за кустов, плача, будто оплакивала не то Лиду, не то детей, не то Челдонова.

— Ах, воровка такая!

И Лида не узнала своего голоса, до того она закричала по-деревенски, по-бабьи. Она подняла с земли камень и бросила в медленно летевшую возле дороги птицу, и та, взмахнув крыльями, закричала еще жалобней и тоскливей.

— Ах, воровка тоскливая! Я вот тебя!

И долго еще в ушах Лиды раздавался этот тоскливый плач. И все казалось грустным-грустным и особенно река Ловать и ивы на берегу, на все смотрела она словно сквозь слезы, но вскоре это прошло. Как только она поровнялась с пунями и огородом, через который надо было идти, в душе опять восстановилась ясность, и Лида подумала совсем хозяйственно, как колхозница: „Хлеба-то какие! Давно не было такого лета“.

В деревне было тихо. Еще тише было в их избе, тикали ходики, и со стены, с холста смотрел на нее Челдонов, вихрастый, такой, каким она его проводила.

Старуха-мать днем работала в огороде и

брала с собой детей. Она старалась не спрашивать Лиду ни о чем — ни о Челдонове, ни о войне, а только смотрела из-под низких бровей:

— А жар-то в поле какой нонче. Листья на деревьях до времени завяли.

Днем было ясно на душе у Лиды, ночью она спала крепко усталым сном, без сновидений. Но однажды она проснулась от какой-то беспричинной тревоги. В избе было душно. И вдруг где-то высоко — не показалось ли ей — она услышала рокот летящего самолета. Рокот был тревожный, с перебоями, чужой.

— Летят — прошептала Лида.

Тикали ходики. Было темно и одиноко в избе, в окно было видно ночное летнее небо, суровое, тревожное, а где-то рокотал мотор с перебоями, странно, незнакомо, все ближе, все ближе.

Лида в одной рубашке подбежала к окну, распахнула его и долго всматривалась в темное небо, долго вслушивалась, а сердце колотилось и было стыдно своего страха.

И оказалось, не она одна слышала в эту ночь рокот чужих самолетов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В четыре часа утра Челдонов сошел с поезда на Витебском вокзале. В небе над городом висели аэростаты воздушного заграждения, у

ворот дежурили домашние хозяйки и в радиорупоры отсчитывал свой тревожный счет метроном.

Дверь ему открыла Садыкина. Она, должно быть, только что пришла с ночного дежурства и не успела снять с себя кожаную куртку мужа и противогаз. Он даже не сразу узнал ее.

Лег Челдонов не раздеваясь. Острое и одновременно тупое чувство, что произошло что-то огромное, трагическое, такое, что ум не может еще представить и понять, и что, следовательно, сам они все должны себя вести не так, как раньше (а как, он сам еще не знал). Это чувство не покидало его, хотя многое противоречило этому чувству и особенно там, в поезде, когда он сел в Старой Руссе и увидел пассажиров таких, как всегда, — бегавших за кипятком, евших, пивших, смеявшихся с женщинами (это были все ленинградцы, возвращающиеся из отпусков на заводы), говоривших те же слова, что и до войны, контролеров, аккуратно проверявших билеты, тонкогоголосых продавщиц, навязывавших всем эскимо. И когда он лег на среднюю полку в душном, несмотря на открытые окна, вагоне, такой далекой ему показалась ночь, когда они вышли с Лидой, плач птицы и Ловать, оплакивавшая вместе с птицей свои берега, возвращавшиеся бабы, проводившие мужей, Лида, которая стала такой маленькой, одинокой, когда пошла, мокрое ее лицо с воло-

сами, упавшими на глаза, плачущие губы, — таким далеким это показалось за одну ночь в поезде.

Утром он встал поздно, умылся и пошел в булочную. Как всегда, весело звенели трамваи. Женщины в булочной выбирали булки, опасаясь, чтобы им не подсунули вечерние. На небе, таком высоком, висели аэростаты, легкие, почти прозрачные, отстукивал метроном, и Челдонов подумал, что он никогда не привыкнет к его стуку, настойчивому и душному.

Он ждал повестки из военкомата, но повестки не было. Сам пошел в райвоенкомат, но ему сказали, чтобы он занимался своим делом, это сейчас самое главное, а повестку, если надо будет, ему пошлют. Он согласился, что каждый должен делать свое дело, но когда пришел домой и увидел начатые еще до отъезда в деревню и незаконченные работы: Садыкину с шваброй, остановившуюся возле дверей, тещу Шенберга, возвращавшуюся в жаркий день с рынка и подносящую к носу только что купленную рыбу, чтобы понюхать, ребятишек, толпившихся перед окном Зоомагазина, что на Владимирском проспекте, он понял, что слова работника военкомата о том, что каждый должен продолжать свое дело, пока его не позовут, относились не к нему.

Повестка пришла, но не из военкомата, а из союза художников. Послали Челдонова на

фронт, но не воевать, а рыть окопы с девушками. Их было несколько тысяч. Посадили в поезд и повезли в знакомые места — уж не в Старую ли Руссу, — откуда он недавно вернулся.

Ему снились странные сны, сны, в которых он видел Лиду мертвой, голой, а то ему снилось, как он вскакивал в поезд, бросив старуху-тещу с детьми на какой-то унылой станции. И до того было странно, что это только сны, как будто в самом деле он не завез их в глушь и не бросил там.

Девушки, с которыми он ехал, были милые, заботились о нем, но он чувствовал, что один, в наполненной женщинами теплушке, он стесняет их, хотя и подбадривает, — все же мужчина.

Привезли их на станцию Батецкая, а дальше они пошли пешком. Шли небольшими группами по обочинам дороги, чтобы сразу спрятаться в канаве или в лесу, если появится немецкий самолет.

Девушкам очень хотелось петь. Но им сказали, что нельзя. И потому они пели тихо, как в комнате поздно вечером, когда рядом сердитые соседи ложатся спать. Совсем не петь они не умели. В сущности они так же радовались жизни, как и до войны. В деревнях, через которые они шли, про них говорили: „окопницы“. И Челдонову, а также и другим мужчинам (в других группах их было боль-

ше) стало очень неловко, что их как бы не замечали и за компанию называли окопницами. Девушки почему-то считали Челдонова старым (может из-за бороды, он перестал бриться) и думали, что ему будет трудно копать, земля глинистая (сколько же они думали ему лет, уж не шестьдесят ли?). Его назначили поваром. После того, как у него три раза подряд подгорел суп и он два раза не доварил кашу (не нарочно конечно), его сняли, он был очень этому рад. Копал он легко, быстро, хотя в сущности с детства ему не приходилось держать в руках лопату. Ночевали они на соломе в пунях на берегу Луги. После работы девушки стирали в реке белье и купались, хотя купаться не рекомендовалось, но не купаться было трудно, — такая стояла жара. В августе на деревьях пожелтели листья, как в сентябре. Однажды, когда окопницы купались, из-за леса вылетел „Мессер“ и, снизившись, стал кружиться и стрелять: „тр! тр! тр!“ Постреляв, „Мессер“ улетел. Окопницы очень перепугались, а потом долго смеялись своему испугу.

По дороге мчались машины с красноармейцами в касках. Красноармейцы смеялись, кричали что-то и махали девушкам рукой, словно они ехали не на фронт. Фронт был близко, километрах в пятнадцати, и слышно было, как стреляли тяжелые орудия. Иногда, сотрясая воздух, пролетал немецкий снаряд, но удиви-

тельно, может быть потому, что Челдонов был вместе с девушками, поющими, жизнерадостными, или оттого, что много работал, у него уже не было того трагического ощущения, как в первые дни, когда деревья, небо, любой пейзаж казался не таким, как есть, а более грустным, волнующим глаза и душу. И он думал о том, что опасность издали, особенно человеку, не включившемуся в дело, кажется страшнее, чем она есть.

Местность, где они копали окопы, была очень удобной для обороны — холмы, река, а внизу на запад и на юг поле, неприятель будет виден издали. И копая, он думал о том, что если даже немцам удастся подойти к лесу, холмы им взять будет чертовски трудно. Приезжающие с фронта красноармейцы с энтузиазмом рассказывали о том, что славная семидесятая разбила несколько немецких дивизий возле Сольцов и гонит их на запад, они же рассказывали, как здорово действуют наши танки КВ, и как от этих танков отскакивают немецкие снаряды. У красноармейцев, даже у раненных, был такой жизнерадостный, задорный вид, что невольно на душе становилось свободнее и веселее.

Однажды Челдонову и окопникам довелось наблюдать воздушный бой. На девять бомбардировщиков, висевших высоко, откуда-то из облака выскочил маленький истребитель и еще шесть, и один из них, должно быть первый,

делал зигзаги, падал стремительно, как камень, и сразу же поджег бомбардировщика, который летел в хвосте. Все смотрели, затаив дыхание, и радостно вздохнули. Все думали, что это наш ястребок. Но выяснилось вскоре, что истребитель был немецкий „Мессершмитт 110“, а бомбардировщик наш.

На душе стало тревожно. Опять трагическим, как во сне, показался Челдонову пейзаж.

А вечером на дороге он увидел бредущее стадо. Овцы бежали на тоненьких ножках и блеяли. Шли босоногие старики, подгоняя измученных жаром коров, двигались подводы с жалким деревенским, на скорую руку собранным скарбом. На подводах сидели старухи и тосковали, старались не плакать дети. Все это тряслось в пыли. Одна старуха, — Челдонов даже вздрогнул, — была до того похожа на его тещу, ему показалось, что она даже сказала „ох-ти“, но эта была не она. Шли русские женщины, устало передвигая босые узловатые ноги. Шли женщины и не плакали, потому что уже нехватало слез.

— Откуда? — спросил Челдонов.

— Из-под Старой Руссы, родной, — ответила с воза старуха.

Господи и они могли быть здесь, его дети, Лида, теща. Он стоял и вглядывался в каждое лицо. Становилось темно. А он стоял и смотрел, вглядываясь до боли. Спрашивал без устали. Ему выкрикали незнакомые названия

деревень. Видно, они догадывались, что он ищет своих. Старухи с возов смотрели на него с чувственно. А возы, женщины, дети шли всю ночь.

Утром девушки побежали за молоком, схватив котелки, кружки. Эвакуированные колхозники подоили коров и не знали, куда девать молоко.

— Пей, родный. Бери. Пей, — уговаривала Челдонова старуха, похожая на его тещу, наливая ему в кружку молоко. — Чего ты не пьешь? Не любишь? Тогда кашу свари на костре. Есть ли хоть в чем сварить-то?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Надо было уходить, все бросить, уходить сегодня утром. Завтра может уже будет поздно. Все оставить здесь — чемоданы, пальто, платья, взять только один его этюд, узелок с бельем да за руку детей.

И было так дико, что Гаврилкин сидел с топором на срубе и строил. Он начал строить еще весной, приволок из леса бревна, весь июнь и июль стучал топором и не понимал, что уже близко война, немец, что низко летящие самолеты не свои, чужие, и могут сбросить бомбу, он сидел на бревне и блаженно улыбался, будто ничего не было на свете, кроме избы, которую он строил. Какими знаками объяснить глухонемому, что эта война непохожа ни на какие другие войны, как

объяснить ему, что немец сожжет его избу, а его убьет.

Что было в его глухонемой, детской душе вот сейчас, сию минуту?

Лида посмотрела в окно. Пахло щепками, смолой. Не хотелось ни о чем думать.

Вышло все очень просто. Лида собрала и узелок белье, нарезала хлеб, намазала его маслом, взяла за руку детей. А мать-старуха возилась возле корыта, стирала. Обняла мыльными мокрыми руками, да спохватилась и стала вытирать о передник руки. Такой и запомнилась навсегда. Ее Лида решила оставить здесь с невесткой Анной. У Анны дети, Петр на войне, и нельзя Анну оставлять одну с маленькими детьми.

Мать выбежала на крыльцо и сморщилась, заплакала. Но запомнилась не плачущей, а вот такой оторопело стоящей, поникшей.

И вдруг все стало прошлым, все: и плачущая со сморщенным лицом старуха-мать, и голенастая невестка Анна с узловатыми, синими, венозными ногами, и Гаврилкин на срубе. Вдруг все стало до того прошлым, далеким, словно с той минуты, как Лида вышла с ребятами и узелком, прошло столько же лет, как с того времени, когда Лида бегала по этим полям длинная, лохматая деревенская девчонка, до того все стало прошлым, словно не два часа прошло, а двадцать лет.

Дорога вилась лесом. До Старой Руссы

было верст сорок, а дети скоро устанут. И что им соврать еще? Соврать, что скоро они сядут в поезд и увидят папу. А может они не увидят папу и не сядут в поезд, потому что до Руссы день пути, а мало ли что может случиться за день.

Лес стоял такой, как всегда, темный, близкий. И под черными елями в прохладной темноте и влаге стояли круглые грибы, висели влажные синие ягоды гоноболи. И было непонятно: что ели будут так же стоять и синеть ягоды гоноболи, когда придут немцы, и небо тоже будет такое же, как сейчас, с легкими курчавыми облаками?

Лида шла быстро, но времени не было, словно остановилось время, детей она несла попеременно — один бежал рядом, а другого она несла, потом другой бежал рядом, а тот видел у нее на плечах.

Показалось Рамушево. В вечерней пыли брели коровы. Но они брели не к Руссе, куда шла Лида, а в другую сторону. Незнакомая женщина вынесла детям попить, а Лида не могла пить, только помочила губы. Надо было еще итти и итти, нести ребят, говорить им о чем-то, не думая о чем и говоря про себя, где-то в глубине думать. И думалось — может это лучше — о постороннем, о глухонемом Гаврилкине, строившем избу и подыскивающим невесту. Невеста должна быть дородная, белая, Гаврилкин обычно показывал руками,

широко их расставляя — какая широкобокая, толстоногая должна быть его будущая жена — и, ликуя, смеялся при этом, как будто все счастье на свете было в ее толстых боках. Что будет с Гаврилкиным, когда они придут? И опять думалось о Гаврилкине и о его недостроенной избе, как будто не было у Лиды ни матери, ни мужа, ни детей, никого ближе этого немого и нелепого Гаврилкина.

Русса была уже близко. И вдруг Лида услышала визг и рокот множества самолетов. Дети не плакали, а тянули ее за руку в сторону, тянули настойчиво в лес.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Деревня была темная, пустая. Кричал раненый конь, кричал так протяжно, дико, долго, что, пока он кричал, они прошли всю деревню и обогнули лесок, а в ушах все еще звенел конский крик.

Девушки шли по-двое, по-трое. Они прижимались к земле. А мессершмитты налетали беспрерывно, с визгом пикировали, обстреливали: „тр! тр! тр!“, а иногда сбрасывали осколочные бомбы, и все это было ничего, если бы не конский крик.

— Товарищ Челдонов, — спросили девушки. — А в какую сторону нам идти?

В это мгновение что-то блеснуло, ударило

воздухом. Все упали и прижались к земле. Бомба разорвалась почти рядом. И когда она разорвалась, Челдонов подумал: вот сейчас его убьет. Все встали и снова пошли. Он вспомнил „Гибель Герники“, картину Пикассо (репродукцию он видел в каком-то журнале): распадение материи и лошадиные смеющиеся, оскаленные черепа и распадение всего — природы, ума — и над всем голова пляшущего быка, полубычья, получеловечья, голова генерала Франко.

Уже было тихо, самолеты улетели, и ветер донес слабый, еле слышный крик безумного коня из пустой деревни. И Челдонов почувствовал, что крик коня ни на минуту не переставал звучать где-то у него внутри. Только теперь он ответил на вопрос девушек, в какую сторону идти.

— Не знаю, — ответил он. Он не хотел врать. Но может было бы лучше совсем промолчать.

Две лошади с раздувшимися животами лежали на дороге, поджав ноги, от них пахло сладко. Видно их убило бомбой еще вчера. Вчера, должно быть, здесь проходили, отступая, воинские части, а сейчас было пусто на дороге и в деревнях, и оттого, что было пусто, было страшно. Вместо того чтобы идти по дороге вместе с войсками, они проблуждали всю ночь в лесу и все по его вине, по вине Челдонова: ему показалось, что через лес им

будет ближе, а потом не надо мешать движению войск. Он, ведь, что-то даже читал об этом в газетах в прошлом году, когда беженцы заполнили дороги Франции.

Ночь, когда они едва выбрались из болота, была наверное самая страшная не только в их, но и в его жизни, и страшная она была не только тем, что они заблудились в лесу, да еще в такой момент, когда от каждой минуты зависело все, не только тем, что они зашли в болото, да еще в темноте, чуть ли не в тряси-ну, а всем предшествующим, когда они видели отступающих бойцов, падающих лошадей, когда какой-то старичок, неожиданно вышедший, предупредил их — туда не ходите. Там уже немец. Туда тоже не ходите, там тоже немец. И показал рукой на все четыре стороны по очереди.

Ночью в лесу, идя то влево, то вправо, наугад, они вдруг увидели огромное зарево и лучи прожекторов над ним и поняли, что это горит Новгород. Ветерок принес издалека какой-то слабый шум, быть может даже детский крик.

Горел Новгород, душа горела, горели дети в новгородских домах, раненые в госпиталях, горели церкви архитектуры такой, какой нет и не было равной, горели иконы старинного письма. И Челдонов в темноте, в лесу, у болота стал рассказывать окопникам о Новгороде, о церк-вах, о том искусстве, о той вере, какую вкла-

дывали старинные мастера, когда писали иконы. Окопницы заплакали. Плакали они не о себе, не себя жалели, и оттого, что они заплакали, стало легче им и еще тяжелее ему.

Девушки шли молча. Как они изменились за эти два дня. Челдонов смотрел на них, и ему хотелось сказать им что-нибудь хорошее, бодрое, и чтобы это была правда. Он бы, пожалуй, сейчас отдал все, только бы им это сказать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Так радостно было увидеть трехтонку и шофера возле нее, что даже не верилось глазам. Когда подошли, увидели и мост, но он был разрушен. Шофер стоял возле машины, видимо не желая ее бросить. Челдонов сказал девушкам, что надо исправить мост. Мост, конечно, они не исправили, а накидали бревен, досок, всякого хлама. Не вдруг, не сразу, а провозились с полдня. Как только появлялись немецкие самолеты, бросали все и бежали прятаться, чтобы с самолета не заметили их работу. Досок и всякого хлама накидали столько, что трехтонка с помощью девичьих рук и плеч все же перебралась кое-как на другой берег. И тут только Челдонов посмотрел на шофера (все это время он его почти не замечал), шофер посмотрел на Челдонова, и они узнали друг друга. И стало

Челдонову неловко и шоферу тоже, как тогда на лестнице, когда Челдонов шел с нею под руку (он мысленно никогда не называл ее по имени) и они остановились, потому что на площадке стоял ее брат, шофер Жоржка. Чего особенного: ну брат и увидел, идет под ручку с каким-то уже не молодым человеком. Но при всякой встрече была та же неловкость как и сейчас.

— А! Вы? — сказал шофер довольно уныло.

— Здравствуйте. Давно из города?

— А ну вас! — сказал неожиданно шофер. — Садитесь, кому не охота идти пешком.

Девушки полезли в кузов. Как им еще хватило всем места. Челдонов сел в кабину рядом с Жоржкой.

Машина понеслась.

Так быстро все начало убегать, замелькали деревья, стога с сеном, избы, так хорошо было ехать, нестись навстречу ветру, а не идти по дороге пешком разбитыми в кровь ногами, так хорошо было ехать и хоть минуту, другую ни о чем не думать, кроме быстрой езды.

Но нельзя, оказывается невозможно было не думать о том, о чем думали и плакали вчера ночью в лесу. Деревни, подожженные с воздуха еще вчера, сегодня догорали. Мычали коровы. И все, все было наполнено такой тоской, что и не сказать.

Показался немецкий самолет. Потом сразу пятнадцать.

Жоржка завернул в лес.

Пришлось выждать, пока стемнеет. А скоро ли в августе начинается темнеть!

Ночью ехали медленно (фары зажигать нельзя было даже на секунду). Нелегкое дело ехать в такой темноте, да по чертовской дороге, где полно подвод—по дороге на Любань. Дороги на Оредеж и Лугу были забиты отступающими войсками.

Сидели в кабинке всю ночь рядом. Сидели и молчали. Только утром Жоржка сказал и то два слова:

— Плешь, а не езда!

Возможно, что Челдонову хотелось спросить Жоржку о его сестре. Но разве он бы спросил?

Спросил он не Жоржку, а себя и о другом: куда ты едешь, Челдонов? Зачем? Что ты радуешься быстрой езде? Куда спешишь? Куда же ты едешь, Челдонов? Домой? Или может быть ты в самом деле старик? И твои годы позволяют тебе сидеть с женщинами в машине, когда дети по дорогам идут пешком. Или может ты в самом деле окопница? Едешь с женщинами, спасаешься, когда тебе следовало бы быть с мужчинами и женщиной. Куда же ты спешишь, Челдонов?

Он повернул голову к Жоржке и сказал:

— Останови. Я сойду.

Жоржка остановил трехтонку.

— Куда вы? — крикнули девушки.

Но вместо ответа он махнул им рукой и быстро пошел.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Случилось все так. Стоял поезд. Лида оставила ребят на платформе на минутку. Сейчас она сбегает купить билеты.

Какая дура! Какие могут быть билеты! За пустым окошком, за деревянной грязной стеной никого не оказалось. И люди, разумеется, сидели без билета на этот последний поезд, который, кто знает, пойдет или не пойдет. Скорее всего что нет. Говорят, что уже разбомбили путь. Только что был воздушный налет.

Но когда она прибежала на платформу, детей там уже не было.

— Ваня! Галя! — крикнула она каким-то не своим, каким-то птичьим стонущим голосом.

Она оглядела платформу быстрым взглядом: детей не было. Она побежала вдоль платформы, вернулась, выскочила в сквер: их не было. Она обогнула вокзал, бежала, заглядывая в окна, спрашивала людей, людям было не до того, но никто их не видел. Она вернулась на платформу. Вот здесь они только что стояли. Ведь она им наказала:

„стойте, я сейчас вернусь“. И когда она, огибая здание вокзала, бежала сюда, она надеялась, что она ошиблась и увидит их в том месте, где их оставила. Но их там не было.

А поезд тронулся, лязгнули буфера, и люди, которые не успели сесть, стали прыгать на ходу.

Она подумала, что дети в поезде, что кто-нибудь их посадил и вот сейчас они уедут от нее навсегда. Она уцепилась за поручни, на мгновение повисла на руках, почувствовала под ногой ступеньку и вошла в вагон.

Когда она входила в вагон, она подумала: а что если они остались, но теперь уже ничего нельзя было сделать, поезд шел слишком быстро. Вагон был битком набит женщинами, детьми, мужчинами.

— Ваня! Галя! — крикнула она.

— Ва-ня! Де-ти-и!

Но никто не откликнулся. И проталкиваясь, наступая стоящим в проходе на ноги, не видя ничего, не слыша, она пошла в следующий вагон.

В этом вагоне пассажиры уже ели, и то, что они закусывали, говорило о чем-то очень обыденном, — просто сидели и ели, стояли и ели, ели и разговаривали.

— Ваня! Га-ля! — Де-ти!

Но никто не откликнулся.

* Когда она прошла весь вагон и вышла на

площадку, дверь в следующий вагон оказалась запертой.

Она представила себе, как они плачут в вагоне. О, только бы они были здесь.

Но вскоре пришла толстая проводница и открыла дверь.

В следующем вагоне, куда она не вошла, а вбежала, все с недоумением смотрели на нее, и она не крикнула детей, а только шла и смотрела, шла и смотрела, и все смотрели на нее.

Она прошла еще несколько вагонов. И впереди осталось всего два вагона.

Еще входя, она крикнула, обмирая от страха, от боли:

— Ваня! Галя! Де-ти!

Но никто не откликнулся.

Перед дверью в последний вагон она остановилась и думала, что ей нельзя туда входить, она чувствует, что нельзя, но и нельзя стоять здесь и спрыгнуть с поезда на ходу, на бежавшие рельсы, тоже нельзя. Так что же делать?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Странное зрелище: дома, дома, дома, милые, уютные, среди деревьев, на тротуарах упавшие с клена листья, речка возле мельницы, как нарисованная блестит на солнце, мост, за мостом улица, но ни на улице, ни

у моста, ни возле деревьев, никого! Неслышно ни крика, ни звука, ничего, что напоминало бы о живом, говорящем, смеющемся и плачущем человеке.

Удивительное зрелище: вывески, такие гостеприимные, парикмахерская, продажа цветов, кинотеатр „Ударник“, начало в восемь и одиннадцать: „Новые времена“, открытые двери, окна, в окна видна внутренняя жизнь каждого дома, цветы, одежда, неубранная посуда на столах. Но где же человек, хозяин этих деревьев, домов, улиц, где он?

Странное зрелище: детские ясли, кровати, кукла на окне и тишина, ни детского смеха, ни окрика няни. Детский магазин с веселыми детскими вещами. Но где же их хозяйева, где дети, где матери, где няньки?

Все застыло, остановилось, окаменело. Тишина. И сердце одинокого человека, внезапно попавшего сюда, будет биться, как в страшном сне, потому что нет ничего ужаснее, как заблудиться в мертвом, покинутом людьми городе.

Челдонов остановился возле часового магазина, ему хотелось посмотреть, который час. Часы, висевшие в окне, разумеется, остановились и неизвестно когда: вчера или немножко раньше. Нет, они тикали, шли. Так удивительно видеть часы, которые шли в этом мертвом, остановившемся городе. Без четверти три. Четверть часа стоял Челдонов перед

витриной, где шли часы. Он сам не знал — почему. Когда стрелка показала три, он пошел. Улицы, дома и деревья были похожи друг на друга, — так бывает всегда в незнакомом городе. Только теперь Челдонов понял, что город, в котором нет людей, страшнее самого бесконечного леса. У улиц были знакомые названия: Пролетарская, Победы, Пионерская. Вот почта. Почтовый ящик был набит доотказа письмами. Их не успели вынуть и отправить. А если они попадут немцам? Челдонов зажег спичку и бросил в почтовый ящик. Письма вспыхнули и загорелись. Он чувствовал страшную усталость. Ноги выли. Только в городе могут так устать ноги, в городе, где столько улиц и где трудно определить — много или немного ты прошел. Челдонов сел на скамейку в саду возле зеленого дома. В песок была воткнута детская лопатка и тут же валялась консервная банка с песком. Под скамейкой лежала кем-то брошенная и видимо недочитанная книжка Джека Лондона „Алая смерть“. Челдонов поднял книжку и вспомнил, что он не читал ее, и почему-то пожалел об этом, и подумал — теперь это ни к чему. Это была первая чужая вещь, которую он взял. А сколько он видел разных брошенных, забытых, ненужных вещей за эти пять дней. Ему хотелось есть. Он вытащил из кармана кусочек хлеба вместе с крошками и стал есть, запивая дождевой водой, которую черпал консерв-

ной банкой из крашеного зеленой краской ведра, стоявшего под водосточной трубой. Вода пахла ржавчиной и краской. Надо было идти. С минуты на минуту в город могли войти немцы. Может быть они уже обошли этот город, он им не нужен, сюда приезжали ленинградцы на дачу провести лето, а сейчас все ушли, даже кошки, собаки и те не захотели остаться. Он не заметил даже воробьев. Даже голуби и воробьи улетели. Никто не захотел остаться.

С минуты на минуту могли прийти. Сердце прыгало. И не оттого, что придут немцы, увидят его, схватят и поведут, не только оттого. Он уже видел немцев. Вчера он прошел мимо немецких патрулей вместе с толпой цыган, и они тоже приняли его за цыгана. Сейчас даже жена приняла бы его за цыгана, так он изменился, оборвался, почернел, оброс.

Сердце прыгало, колотилось. Только очень давно, в раннем детстве, так искренне, так по-детски прыгало в груди сердце, так, что даже стучало в висках. И он понял, что сердце прыгает в груди от одиночества, оттого, что вокруг так много домов, но в домах нет людей.

И все же он зашел в один дом. Из любопытства? Какое там любопытство. Не унесли же с собой жители все, лежит же где-нибудь на полке хотя бы засохший кусок хлеба, стоит же где-нибудь на окне в миске или горшке,

хотя бы пусть прокисшее недоеденное кошкой молоко. Так ему хотелось есть.

Он зашел в этот небольшой дом. Как было в нем мило. Должно быть здесь жила девушка. Только в девичьей комнате может быть так светло, так легко, только там на столике так по-девичьи красиво и нежно могут стоять даже обычные, грубые предметы. Зеркало, в которое она смотрелась. Цветы, которые она собирала в лесу, уже засохшие, но словно еще живые. Книги, которые она читала. Тетрадки, в которые она записывала еще в Ленинграде лекции. Наверно она была студентка. На стене репродукции. Девушка любила пейзажи Коро! Где она достала эти прелестные репродукции? Коро! Она любила то же, что и он. Какое удивительное совпадение! Огромные, легкие, темные ветви деревьев Коро! В этой комнате, в мертвом покинутом городе, живые, весенние ветви деревьев Коро!

Он рассмеялся от изумления и радости.

Кровать, на которой она спала. Стул, на котором сидела.

Он оглянулся и посмотрел на дверь. Он даже убежден был в эту минуту, что она сейчас войдет. Казалось, что она только что была здесь и вышла на минутку в соседнюю комнату. Он осторожно дотронулся до ее книг. Может этого не следовало делать. Но ему захотелось узнать, что она читала. Диккенс — „Посмертные записки Пиквикского

клуба“, Сервантес — „Дон-Кихот“, Достоевский — „Идиот“, Гоголь — „Мертвые души“! Его любимые книги. Она любила то же, что и он. Он раскрыл „Дон-Кихота“. Должно быть она читала совсем недавно и не успела дочитать. На этой странице лежала закладка. И от книги повеяло на него такими знакомыми, такими забытыми духами, что он захлопнул книгу. Какое совпадение! Он протянул руку к тетрадкам. „Хворостовой, студентки V курса“, — прочел он. Здесь жила Ляля. Еще недавно, может еще вчера. Это был ее столик, ее книги, ее зеркало. На этой кровати она спала. Ему стало так душно, так нехорошо, что он даже сел. Он сел на стул, на котором может вчера еще сидела она. Так вот почему на стене пейзаж Коро, а на столе Диккенс. Она ведь ему не раз говорила, что любит Коро. В Ленинграде он уже давно у нее не бывал, не знал, что она ездит сюда на дачу. Может Жоржка уже видел ее после того и рассказал ей о встрече и о том, что он слез с машины. Едва ли.

Так вот как выглядят ее комната, ее вещи.

Во дворе в саду зашумел ветер, качая деревья, и дверь распахнулась. Все словно вдруг ожило в комнате. И нечаянно он посмотрел в зеркало и увидел вдруг свое страшное, черное, заросшее бородой лицо.

Из Лялиного зеркала глядело на него это чужое, лохматое, постороннее лицо. И на мгно-

вение увидя себя в зеркале, он понял, что нет у него времени и не нужно ему засиживаться в этой комнате, что нужно, пока не стемнело, скорее идти.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Осподи, — прошептала старуха. Деревня ей словно снилась. Избы, дворы, пуни, — все стояло на месте, но в доме не было ни человека, птица не гуляла у крыльца, не слышно было ни крика скотины, ни девичьего смеха, ни вздоха.

На заборе висело забытое одеяло, почерневшее от пыли. Старуха дотронулась до него сморщенной рукой. Она отворила калитку и поднялась на крыльцо. В сенях будто кто-то притаился, вор или еще кто, кто-то чужой и непонятный, как бывает только во сне.

Старуха вошла в дом, хотя боялась чего-то и хотя боялась, но шла и не могла остановиться.

Все было на месте, на столе — самовар, деревянная ложка в горшке из-под топленого молока, у окна — неполитый цветок, согнувшийся и пожелтевший.

Старуха посмотрела в окно. Дома стояли тихие, мутные, похожие на отражение в темной воде, какие-то зыбкие, и все качалось в глазах, словно она на них смотрела с качелей. И снова старухе стало казаться, что она

спит, что наяву этого не может быть и что это ей снилось уже давно, не то перед смертью мужа, не то перед пожаром.

Согнувшийся, умирающий цветок и земля, треснувшая в кадке, напомнили то, зачем она сюда пришла.

Анна, невестка, не хотела ее пускать домой в деревню.

— Сиди. Убьют, — сказала она сердито.

А соседка Родионовна, словно объясняя невесткины слова, все кричала на ухо старухе, будто она была глухая.

— Убьют, Абрамовна. Поверь моему слову, убьют. Бомбой растрясут или снаряд в тебя бросят. Намеднись Павлова разорвало, бригадира. На огород за картошкой ходил вместе с мальчонком. Мальчонку-то бросило воздухом, а в него как ударит! Куда руку, куда ногу!

— Сидела бы, убьют, — повторила невестка.

Они уже вторую неделю жили в лесу в шалашах, и самолеты часто показывались над лесом с прерывистым рокотом и гулом, и Васька, внучек, всякий раз кричал:

— Прячься, бабка! Не наши! У наших шум мягкий.

Но бабка не пряталась. Заслонясь ладонью от солнца, она спокойно смотрела на небо, и ей не верилось, что смерть придет оттуда, со светлого, безоблачного июльского неба, она

смотрела на небо, на рокошующие самолеты и думала. Кто знает, о чем может думать старуха. Войн много она пережила: японскую — воевал ее муж, германскую — воевал старший сын, гражданскую — сражался младший, Петька. Но все те войны были где-то далеко, и когда она слышала это слово, ей представлялось, с одной стороны, что-то яркое, красивое — пушки, казаки, скачущие на бодрых лошадях и размахивающие шашками (эту войну она видела на картинках), с другой стороны, война ей представлялась чем-то страшным, далеким, неизвестным, откуда может не вернуться младший сын Петька, племянник или сосед.

А теперь война была рядом с их деревней, — Лида-то с ребятами ушла во-время, а кто знает, поспела ли она на поезд, захватила ли места или едет стоя до самого Ленинграда и дети тоже стоят. Теперь война была тут, и старуха не раз слышала свист летящих и грохот разрывающихся снарядов. Всем пришлось вместе со скотом уйти в лес, над лесом летали „ропланы“ и сбрасывали какие-то бумажки — не то удостоверения, не то объявления, не то прошения какие-то, кто знает — и это тоже была война.

Может потому, что война была близко и низко летали самолеты, обстреливая даже скот в поле и купающихся в речке ребятишек, никто не боялся смерти, бабы убирали рожь,

хотя поблизости рвались снаряды, ребяташки продолжали купаться и попрежнему смеялись девки, правда, уже не тем веселым и беззаботным смехом, как раньше.

Старухе надоело прятаться в лесу, в темном низком шалаше, в лесу было много комаров. Ей надоели деревья—пыльные, пожелтевшие уже в июле, с завянувшими от жары листьями, и было тяжело оттого, что нельзя было работать в огороде. Ее тянуло взглянуть на свой дом, подмести пол. Пыли, поди, за это время накопилось много, огурцы стоят неподитые, — кто же их польет, кроме дождичка, да кроме нее.

— Сидела бы, убьют, — не пускала ее невестка.

— Ишь как! — Рассмеялась старуха. — Убьют!

И хотя она была стара, ей не верилось, что ее может убить снаряд или пуля, она не солдат, за что ее убьют.

— Ишь как! Убили, — сказала она, сгребая ладошкой хлебные крошки с доски, поставленной на пень и заменявшей стол. — За что же убьют-то? Я же не армеец красный, а старуха. Старухи от пули не падают. У старух своя смерть, обыкновенная, старушечья.

— Снаряд не разбирает, а бомбы и того меньше — старуха или молодуха, — вмешался деверь, дед Евдоким.

— Ишь как! — сказала старуха. — Не разбирает. Ничего, когда надо разберется. Мимо упадет, зачем я ему?

— Иди, — стала поддакивать невестка. — Что села-то? Надумала, так иди, только если убьют, не обижайся.

И старуха пошла.

Теперь, смотря на засохший цветок, на невымытые чашки, на сор возле печки, на солому, высыпанную из тюфяка на пол, на опрокинутую скамейку посреди избы, она была все же довольна, что пришла сюда и забыла уже про тишину и про то, что в сенях будто кто-то притаился и про зыбкие потемневшие дома.

Принеся из колодца воду, она стала поливать цветок; земля, впитывая влагу, почернела, трещина затянулась, и цветок выпрямился, ожил.

И вместе с цветком и в старухе словно что-то ожило и повеселело, она пошла в огород и стала поливать огурцы.

Покачивались бледнорозовые и красные головки мака. С расставленными руками стояло чучело в невесткиной рваной кофте. И от солнца зелень казалась нестерпимо яркой, веселой. Старуха поливала огурцы, полола грядки, осторожными и быстрыми движениями маленьких рук притрагиваясь к земле. Время проходило незаметно, не то что там в лесу, в шалашах, где день тянется долгий в беспокойствии и причитаниях. Кончив полоть гряду, старуха выпря-

милась. Спина сладко ныла, как и всегда после работы в огороде, старуха улыбнулась и подумала про себя: „Огурец будет крупный в нынешний-то год.“

Она пошла от грядки не спеша и вдруг остановилась, удивленная: в траве лежала ее зимняя варежка, маленькая, белая, с черной каймой, как девичья, — у старухи была маленькая девичья рука. И оттого, что лежала рукавица в траве возле забора, а не в сундуке в чулане, старухино сердце защемило от тревоги, и она вспомнила — когда она подходила к дому, ей показалось, что кто-то там притаился, вор или еще кто. „Так и есть,“ — подумала она.

Она надела варежку и пошла к дому, и тут снова увидела темные зыбкие пустые дома и черные страшные деревья колхозного сада с выгоревшей сердцевиной, возле них должно быть бросили бомбу, и старухе стало досадно, — к чему рядом с огородом, таким ярким, живым, веселым, стоят эти тоскливые мертвые дома и обугленные березы, недавно еще такие белые, большие, всегда свежие, какими летом бывают только березы.

В доме было тихо, старуха бросила разорванный тюфяк на скамью и легла под образами. Она закрыла глаза и странно, словно она их бы и не закрывала, закрытыми глазами видела то же, что и открытыми: темные зыбкие дома и обгоревшие березы сада. И

старухе подумалось: „Березы тоже, видно, перед ним виноваты, бомбит и деревья. Ишь как!“

Незаметно она уснула. Проснулась под вечер и на руке увидела варежку, давеча она забыла ее снять.

Дверь в сенях скрипела, словно там гулял ветер. Но ветра не было. Старуха посмотрела и ахнула: на пороге стояли трое с винтовками и глядели на нее. Они были в коротеньких сапогах, в кургузых, неопределенного, не то серого, не то зеленого, цвета мундирчиках и в лицах у них было что-то мелкое — мышинное, безобидное, старухе даже стало смешно.

„Он, — подумала она. — Он и есть“.

Трое прошли и, словно бы не замечая старуху, сели возле стола и стали что-то быстро говорить на совсем непонятном языке, лопотали они что-то долго, потом один из них сказал по-русски, обращаясь к старухе:

— Чай, бабушка, скипяти!

И то, что он сказал эти русские слова, рассердило старуху может быть потому, что она их не ожидала услышать.

— Чай? Ишь как! — сказала она. — Чаю я уже неделю как не пивала. Чаю нет и сахару нету. Говорят, в кооператив попала бомба, ну стеклом мелким сахар-то засыпало.

— Чай, бабушка, ставь самоварчик. С сахаром со своим будем пить, да принеси огурчиков. Понимаешь?

— Нет, не понимаю, — сказала старуха.

— Откуда огурцы-то, когда поливать некому.

— Некому? Скоро будет кому поливать.

Да, двигайся, бабушка, пошевеливайся, или ноги болят?

Он говорил как русский и совсем не сердито, и это удивило старуху.

— Кто же вы такие, а? — спросила она.

— Кто мы? — рассмеялся тот же. — Разве не видишь, бабушка?

Пили они чай со своим сахаром, и хлеб ели со своим маслом и сыром, и сыр видно был не здешний, свой, германский, и резали они его толстыми ломтями как хлеб.

— А ты что, бабушка, не пьешь? Сыр пробуй. Сыр эстонский. В вашем кооперативе такого сыру нет.

Но старуха не притронулась ни к их сахару, ни к их сыру. Едала она слава богу за свои годы масла и видла (она говорила не „видела“, а „видла“) она в городе, что такое сыр. Нет, не надо ей чужого ни сыру, ни сахару, только пусть бы говорили на своем непонятном языке, зачем он говорит на нашем, пусть бы уж лопотал на своем.

Это были первые. Потом пришли и другие. Много, много их пришло, наверно с тыщу или поменьше. Расположились они в домах, у заборов поставили машины, укрыв их ветками, и все они были такие же, в коротеньких, словно

в детских, сапожках, в штанишках и курточках в обтяжку, с серебряными и железными кольцами на пальцах и в лицах их молодых было что-то мышинное, мелкое, неприятное. — Старуха чувствовала к ним легкую брезгливость и пугалась, когда они подходили к ней близко и трогали своими руками ее вещи. Она чувствовала непонятную брезгливость и страх. Страх и брезгливость к мышам были у них в роду по женской линии.

„Он, — думала старуха. — Он и есть“.

Она, как и все, называла немцев „он“. Колхозницы, говоря „он“, имели в виду не только Гитлера, но и все его войско. Называя их „он“, они хотели этим как бы подчеркнуть всю чуждость его, всю неестественность и враждебность всему, что любили, — своей земле и огородам, деревьям и небу.

Там, в лесу, в шалашах, когда она судачила про него с соседками, она не думала, что он такой. Он и эти безусые мальчишки в мышинного цвета мундирах, что-то лопочущие на своем языке и таскающие с огорода то лук, то огурцы, то репу, без стеснения оправляющиеся прямо посреди улицы, под окнами, когда для этого есть загуменки и овины, он и эти парни с женскими кольцами на пальцах, может быть украденными где-нибудь или насильно снятыми с девичьего пальца, — старуха представляла его другим, более представительным, что ли, или солидным.

Она смотрела на них, молчаливая, и презрительно молчала, когда они обращались к ней с вопросом, или притворялась глухой, когда они очень уж приставали.

Они расположились, как у себя дома, в ее избе, в избе у Носковых, у Родиных, во всех избах, подостлав под себя чужие тюфяки и беря все, не спрашивая у старухи, как будто она была уж не хозяйка в своем доме. Ей стало скучно в своей деревне, огурцы поливать не хотелось, — для чего поливать? Не хотелось подметать сор в избе, — для кого подметать?

Наклонившись над сундучком в чулане и желая проверить, все ли на месте, она увидела, что все перерыто и куда-то делись Васьки, внучка, новые валенки, что в прошлом году привез Петька из Руссы, а Лидиногo чемодана нет на том месте, где он стоял.

— Осподи, — прошептала старуха. И ей стало жалко Лиду и особенно Ваську — внучка, придет зима, а он будет босый и не в чем будет ему бегать в школу, да и купит кто! — Петька на войне, да и вернется ли, а невестка такая халатная, не сумеет позаботиться ни о ком, кроме себя.

Вернувшись в избу, она застала того, кто хорошо разговаривал по-русски. Он стоял возле печки и чистил сапог ее варежкой.

Старуха узнала сразу свою варежку.

А он был в хорошем духе, веселый, и сказал:

— Ну как, бабушка? Поясница не болит? Хочешь, я капель спрошу у доктора. Доктор у нас хороший, у вас, наверное, таких докторов нет.

Старуха хотела спросить свою варезку, но раздумала.

— Домой к своим собираешься. Часовой не тронет, мы старух не убиваем.

Ей все хотелось спросить его, не видал ли он внучковы валеночки, может, взял кто из его приятелей, может отдаст, к чему им валеночки, таким молодым, поди и детей-то нет. Но она раздумала, не спросила, а решила сама проверить. Когда они ушли из избы, она развязала мешки и стала осматривать их, но валенок не было. Она заглянула в ранцы — так и есть, валенки нашла.

— Вот бессовестные, — сказала старуха. — Молодые, а бессовестные.

Она спрятала валенки, завязала их в платок и решила уйти. По крайней мере до шалашей еще до ночи дойдет, да и валенки принесет.

До загуменок она прошла просто, никто ее не остановил, никто не окликнул, но только перелезла через изгородь и свернула тропкой, что идет к лесу, как часовой что-то сказал на своем языке и рассмеялся.

— Ишь смеется над старой, — сказала старуха.

И тут она вспомнила слова немца, что чистил ее варезкой сапоги, — что часовой не тронет — кому нужна старуха, а если нельзя, то этот толстый остановил бы, а то стоит и смеется, — кому нужна старуха.

Часовой вскинул ружье и прицелился в старуху. Сделал он это не спеша, как-то весело, видно желая пошутить.

— Ишь пугать хочет, — рассмеялась старуха. И погрозила пальцем.

Сейчас у нее не было особой злобы к этому толстому, решившему попугать ее, может быть потому, что он шутил и хотел посмеяться над старухой, может оттого, что валеночки были при ней и она несла их внуку и не видать им чужих валенок.

Толстый выстрелил, и пуля просвистела возле старухино плеча, где-то совсем близко, потом старуха почувствовала, как что-то ее ударило. Она упала и выронила валенки, потом долго еще видела эти валеночки и никак не могла до них дотянуться. Ей было жалко внучка и было странно, что валенки рядом в траве, а она не может их достать рукой, как во сне.

Потом она подумала, что это смерть, но какая-то другая, не старушечья, а мужская, и когда толстомордый нагнулся над ней, чтобы посмотреть, куда он попал, — убил или нет, она хотела что-то сказать, но не успела.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

И действительно, за окном были горы. Потом горы подвинулись еще ближе к поезду, к самым окнам. Наверх карабкались, взбирались острые ели, стояли круто дома и над трубами висели завитки дыма, потом в окна ворвался ветер, что-то блеснуло и под колесами застучало, загремело.

— Мама, река!

Поезд шел по мосту. Под поездом дрожала, неслась широко река, и потом на поезд побежали дома, трубы.

Мужчины, садившиеся на станциях, говорили протяжными бабьими голосами. У станций и деревень были ласковые названия: Оверята, Стряпунята, Пирожки.

Никогда не забудется день их приезда!

Пили чай в избе. И незнакомым женщинам Лида рассказывала, как она потеряла детей и как нашла их в багажном вагоне. Бабы вздыхали, лица у них были широкие, плоские, некрасивые даже у девушек, но слова они произносили тягуче, прекрасно, мелодично с незнакомыми какими-то интонациями, может так говорили русские женщины в древней Руси.

Ребятишки уже побежали к речке, а у окон стояли горы, такие круглые, так близко, что,

казалось, протяни в окно руку и дотянешься, дотронешься до них, до этих гор.

А потом Лида мылась в низкой черной жаркой бане, пахнувшей веником и накалившимися камнями, мыла ребят и приятно было трогать их круглые скользкие от мыла руки, ножки, детские спины и животы, щекотать пальцем в их ушах, шлепать их ласково. Когда нехватило воды, пришлось накинуть на голое мокрое тело верхнее платье и выбежать из бани к тут же гремевшей по камням речке и вода оказалась до того студеной, зимняя в еще осенней по времени речке, до того ледяная, что сразу пришло в голову: скоро начнется зима.

И зима действительно пришла сразу. Через неделю, через полторы выпал снег, все побелело, но в полях еще не успели убрать и заскирдовать хлеб, и вот для Лиды нашлось дело.

Возле лошадей, весь день возвращающихся назад и снова бредущих по кругу, возле молотилки и соломы с ней познакомился старик с чужим, словно приклеенным носом. И он спросил ее строго:

— А мужик-то твой где?

— Воюет, — ответила Лида.

— Ну а в письмах что прописывает? Командир он у тебя или кто?

И Лида подумала, стоит ли говорить, что она не знает, где муж, жив или нет, и что

если он жив, то не знает, где она, и что нет и долго, наверно, не будет ей от него писем.

В это время протяжно, густо закричала высокая кирпичная труба в Краснокамске, казалось она была рядом, но на самом деле до нее было девять верст.

Здесь все было так. Все казалось близко, рядом, особенно горы, на горы хорошо было смотреть, и когда Лида смотрела на них, думалось свежо и по-детски о том, что за этими горами должно быть что-то очень интересное, может еще горы или озера, и там бегают лосихи, а возле деревьев стоят медведи на неуклюжих человеческих ногах.

На холме стояла школа с красной железной крышей. Из школы вышла пожилая художавая женщина со светлыми мальчишескими глазами. Она подошла к Лиде, странно улыбаясь, как улыбаются еще издали люди, когда они хотят подойти к незнакомому человеку и что-то ему сказать.

— Я завшколой, — сказала она. — А про вас слышала, что вы с высшим образованием.

— Я ушла с третьего курса Академии художеств, — сказала Лида и тоже улыбнулась, но виновато, как она улыбалась всегда, когда говорила об этом. С третьего курса она ушла потому, что вышла замуж за Челдонова, и потому, что ей тогда стало ясно, что худож-

ник выйдет из Челдонова, а из нее все равно не выйдет ничего.

— Ну, что ж, — сказала заведующая. — Учить ребят у нас будете.

Сказала это просто, видимо не ожидая возражений, и степенно пошла.

Дома хозяйка Сергеевна возилась возле печки, стряпала шаньги. В избе пахло сметаной. А на скамейке стоял кот и глядел на шаньги стеклянными глазами. Лида подумала, как трудно смотреть коту так и сдерживать себя, и как человек умеет даже животным привить свою человеческую сдержанность, и что ему удалось очеловечить зверей, птиц, деревья и злаки. Подумав так, Лида обрадовалась этой мысли, потому что сейчас она уже думала не для себя, а для детей-школьников, думала о том, как она придет в школу и постарается деревенских ребятишек научить думать, мыслить, обобщать.

Пришла она в школу утром следующего дня. Ей показали ее класс. Она вошла и на низеньких партах увидела сидящих школьников и школьниц; все встали и сразу сели. Не успела она сесть, как они уже знали ее имя и отчество. Вдруг один из школьников выпустил из широкого рукава воробья, воробей подлетел к окнам и стал биться в стекла и летать по классу. Все смеялись, в окнах уже были вставлены двойные рамы, и надо было, чтобы птица вылетела в дверь, но она

ни за что не хотела туда лететь, видимо боясь темноты.

Лида не знала, что делать, наказать ли сразу озорника, накричать, пригрозить всем, но вдруг рассмеялась, и это было так неожиданно для школьников, что они сразу перестали шуметь, а озорник поймал воробья и, держа его в сжатых пальцах, вынес за дверь и на крыльце отпустил.

Лида подумала, что ей будет очень трудно, она никогда не преподавала и негромким голосом она начала свой урок.

Дома, накормив ребят, Лида села за стол и стала смотреть школьные тетради.

Ах, сколько детской радости было в этих рисунках. И особенно на одном — уж не озорник ли, что выпустил воробья, рисовал это. Были изображены деревья и на каждой даже маленькой ветке сидело по птице, и птицы видимо пели, весь лес нарисованный на клочке бумаги, детский, неровный лес, забегаящий за лист, весь лес был наполнен птичьим ликованием, и солнце тоже, как заяц, прыгало, бежало вприпрыжку по небу. Ах, сколько детской энергии было здесь на каждом листе, вырванном из тетрадки, сколько любви к речке и к домам, и даже к огородному чучелу в красной юбке, и даже к унылому железнодорожному зданию, где на одну минуту оставались, да и то только пригородные, поезда.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Проходит неделя. Проходит месяц, и потом дни уже идут быстро, незаметно. Пройдет полгода, год, и покажется ей, что она жила здесь всегда и никогда отсюда не выезжала, как Сергеевна или племянница ее Настя, чей колоратурный голос за стеной произносит сейчас самые обыденные на свете слова.

И только этюд его: ива да Бушкинская баня, что писал он в начале лета и не закончил, только его этюд да дети с его глазами оба — Ваня и Галя — вот и все, что осталось от того, что стало прошлым, далеким, недо-стоверным.

Бородатый важный почтальон Петр Тихонович каждый день приезжает на колхозной лошади и стучит в стекло толстым пальцем. А ей нет и не будет письма от него.

Но есть нечто неизмеримо огромное, важное, заслоняющее прошлое и личное, это текущий день и все, что рядом: колхоз и поезда с танками, бегущие мимо ее дома, на запад, соседние деревни со смешными названиями: Грехи, Малые Шабунята, Стряпунята, Оверята, где она бывала уже не раз по общественным делам, старики-колхозники, которые здоровались с ней громко, хозяйственно, восьмидесятилетние, но еще крепкие, рыжебородые, с ртами, полными белых зубов, которым она читала по вечерам в избе-читальне рассказы

Чехова, словно для того, чтобы услышать их густой, неторопливый, жизнерадостный смех. Есть нечто эпическое, несмотря на мелочи и мелкие хлопоты в текущих днях, с которыми сливаются душа и забота.

Утро начиналось рано. Уже Настя хлопала дверьми, а Сергеевна сидела в углу темного двора и доила корову.

По глубокому снегу, по круглым белым спокойным холмам шла Лида в школу. Горы отодвинулись, стали дальше оттого, что была зима. Они были облиты чем-то синим и ярко-розовым, словно краской, и вдруг ожили, заиграли, задвигались, — из-за леса, как на детском рисунке выскочило солнце. Колечки дыма над трубами домов светились и блестели как иней. Потом на железнодорожном полотне показался поезд и закрыл паром небо и лес на той стороне полотна. А там дальше, в середине леса, была видна кирпичная труба ЗакамТЭЦ, и вдруг она закричала густо, протяжно, и Лида успела дойти до крыльца школы, прежде чем замолчала труба.

Есть далекие страны и города, о которых взрослые, даже интеллигентные люди, знают из книг, читанных в детстве, есть милая детская наука география и красивые слова — Ориноко, Гималаи, Замбези, и так далеки и во времени и в пространстве эти реки, города и страны, отодвинутые от быта и ежедневной заботы куда-то в память, что кажется иногда

взрослым людям, что эти страны выдумал Жюль-Верн, Майн-Рид или Стивенсон, что их никогда не было и нет. Но Лидино детство прошло в деревне без детских книг, и эти красивые и трудные для нее названия она узнала уже девушкой в рабфаке, заучивая их вместе с геометрией и алгеброй. И все же было странно в середине зимы рассказывать детям о жарких странах, о деревьях, совершенно непохожих на наши деревья, и как жаль, что в Молотове не было Ботанического сада, а то можно было бы детям эти деревья показать.

Неуверенно прозвенел звонок. Дети шумно выбежали из класса на перемену, дверь то-и-дело открывалась, и входившие с улицы приносили в школу снег на валенках, стужу, и стало сразу неудобно, холодно. Ходила по коридору и заглядывала в классы заведующая Елизавета Маврикиевна, останавливала школьников и делала им внушение. И Лиде было неловко и неприятно, словно Елизавета Маврикиевна делала выговор не школьнику или школьнице, а ей самой и ей самой глядела в глаза своими светлыми мальчишескими глазами.

Дети на уроке произносили географические названия далеких городов и рек по-своему, с местными интонациями, девочки мелодично, мальчики грубоватыми, простуженными голосами и оттого эти реки и города, острова и озера становились близкими, даже знакомыми, словно они были здесь, где-то возле Оверят,

Стряпунят или Курьи, и до них легко доехать на пригородном поезде.

И вот в эти минуты в середине урока иногда останавливалось сердце у Лиды от страшной тревоги, и она смотрела на школьников и школьниц, на их белобрысые головы и быстрые глаза, ведь в эти минуты и часы где-то под Москвой решалась их и ее судьба.

Уже по начавшим синеть холмам возвращалась Лида из школы домой к Сергеевне, к Ване с Галей, ждавшим ее.

А по дороге скрипели сани, колхозницы везли сено или сидели в пустых быстро несущихся навстречу Лиде дровнях, возвращались с рынка из Краснокамска. Дорога была узкая, свернуть было некуда, и Лида то-и-дело проваливалась в глубокий не по-декабрьски тяжелый снег, и незнакомые колхозницы, видно из далеких деревень, смотрели на Лиду с каким-то пристальным интересом. От мороза у Лиды слипались ресницы, как в детстве сразу после сна утром, и снежное поле, и дорога были то близко возле самых ресниц, то далеко, уходили куда-то, отодвигались вместе с горами и лесом, округло, как волчьи глаза, горели вечерние окна в далеких от темноты избах. И детское, зябкое чувство охватывало на миг Лиду, что дорога, уже почти не видная, уведет ее куда-то в сторону от деревни, в незнакомые места, в лес.

В избе мелодично смеялась Настя; рассказывала про свиноматку и что кастрировать поросят к ним на свиноферму приходил какой-то в очках, „еврей он или кто, и все смотрел сквозь очки на нее, на Настю, и на девок, а гляделки-те, глаза-те у него как тараканы, какие-то сухие, колючие, в здешних местах не видела даже таких глаз“.

На понедельник всю ночь мела метель, гудело в трубе, изба за ночь выстыла и в кадке на кухне закрылась льдом вода. Лида надела большие мужские, купленные в Краснокамске на рынке, сапоги, закуталась в Сергеевнину черную старушечью шаль и, стараясь не стучать дверьми, вышла сначала в закрытый двор, потом на улицу. Метель затихала, было еще совсем темно, дорога под ногами была то голая твердая, скользкая, как лед, то исчезала под сугробами. В редких избах светились окна. Лиде надо было дойти до Малых Шабунят и в шесть часов сесть на пригородный поезд, идущий в Краснокамск. До Краснокамска напрямик через лес по зимней дороге было пустыки — километров девять, но дорогу за ночь наверно замело, в поезде зато будет тепло, хотя и тесно.

Она даже не успела это подумать, как ушла по пояс в снег, очевидно она сошла с дороги. Вся вспотев от усилия, она выбралась и снова провалилась в снег. Дороги в темноте не было видно. И не видно было изб позади —

их закрыл лес, темнота. Лида выбралась и сразу же глубоко провалилась в снег, и снег набился в сапоги, ноги были как в ледяной реке, сразу вспомнилась кадка и вода в ней, закрывшаяся льдом. Страшным усилием — и от этого набухли даже вены на лбу, — Лида выбралась и сразу же провалилась глубоко всем туловищем. И почему-то стало спокойно на душе, не страшно, как будто дорога была в двух шагах, и стоит только сделать еще одно усилие, и она, Лида, будет на дороге.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Стекло в любом окне отделяет зиму от домашнего тепла.

Но есть на Петроградской стороне за зимними голыми деревьями такое учреждение, где за стеклом не только другой климат, но и другая природа. Идущему по снегу ленинградцу достаточно отворить дверь, чтобы попасть в тропический лес.

Сколько русских путешественников объездило все моря и страны, чтобы собрать сюда растения всего мира, сколько поколений садоводов состарилось здесь, чтобы древовидный папоротник (ему исполнилось восемьсот лет) мог расти, молодея сквозь века, чтобы увирандра и ее лист-сеточка (растет в быстротекущих ручьях), чтобы увирандра легкая и воздушная, как зеленая сетка, брошенная в

воду, могла дышать в искусственном ручье, живя рядом с другими растениями, переселившись на Петроградскую сторону с Амазонки, с Ориноко, с Нила и с других рек.

Стекло отделяло природу, климат Африки и Южной Америки от суровой ленинградской зимы. Сквозь стеклянное небо светило малокровное солнце. Но в помощь солнцу было создано нечто более надежное, не зависящее от изменения погоды: тепловая система Ботанического сада.

В одной из оранжерей росли папоротники — древнейшие растения мира. Такие папоротники росли еще тогда, когда земной шар был другим и огромные животные с холмообразными телами ходили по траве, непохожей на нашу траву. Но однажды как результат геологической катастрофы мороз ледникового периода ворвался в вечные тропики, леденя реки и воздух. Природа окаменела. Каменный уголь ведь это то, что было когда-то веселым и живым.

Вероятно что-нибудь подобное почувствовали папоротниковые древнейшие растения мира, когда в ночь на 15 ноября 1941 года не геологическая катастрофа, а воздушная волна немецкой бомбы сорвала стекло с оранжерей. Вместе с взрывной волной в тропическую влажную атмосферу оранжереи ворвалась зима.

Если бы можно было отдать свое тепло, кровь свою, уже обедненную недоеданием, если

бы можно было сделать чудо, сотрудники сада сделали бы его. Они расстеклили бы окна в своих квартирах, чтобы застеклить оранжереи. Закутав растения, обогревая их своим дыханием, они несли их к себе в квартиры, чтобы спасти. Так каждая квартира стала отделением сада. Так отделением сада стала комната Хворостовой, студентки пятого курса.

Отец Ляли Хворостовой Иван Иванович перетащил себе в квартиру из оранжереи кактусы, и теперь горшки с кактусами стояли на обеденном столе, на подоконниках, на шкафу, на полу, в уборной, в ванной комнате, на книжных полках, под письменным столом, на кухне рядом с примусом и керосинкой, а он все таскал их и таскал, словно надеялся, что стены квартиры раздвинутся и найдется еще много места. Так и случилось, что в небольшой квартире садовода Хворостова нашлось место для всех кактусов мира, но зато для самого Хворостова и для его дочери-студентки уже не было места. Негде было лечь, негде сесть и ходить по квартире приходилось, высоко поднимая ноги, чтобы не наступить на кактус, не раздавить горшок. И вот обнаружилось, что у Хворостовых всего полкубометра дров, да к тому же осины, а зима только что началась и топить надо было почти непрерывно, поддерживая в комнатах сухую температуру песчаных пустынь Мексики, южного Колорадо, Техаса и Аризоны.

Старик был не лишен юмора. Свою квартиру он прозвал новым ковчегом, но ему предстояло спасти растения не от потопа, а от немецких бомб и блокадной зимы, что было неизмеримо труднее, и дочку свою Лялю он называл, в зависимости от настроения, то Сим, то Хам, то Яфет.

Ляля была коротконосая, некрасивая, большеватая, с широкими отцовскими руками. Природа вписала энергию, быстроту, жизнь в каждое ее движение и черту, в походку, в живые, быстрые глаза. Но говорила она не громко, скороговоркой, а медленно, каким-то сиплым, простуженным голосом, как милиционерша. Выросла она в Ленинграде, но в сущности в тропиках, возле волосатых пальм Ботанического сада, и может потому она не любила эти пальмы и чувствовала их искусственность, особенно когда сравнивала их со скромной милой березой. Она не любила орхидеи и жирные тропические цветы, сладкий африканский оранжерейный воздух и почему-то даже стыдилась отцовской профессии и в школе однажды даже соврала — сказала, что отец ее банщик, принимает одежду в той бане, что на Пушкинской, и за два рубля моет людям спину и ноги. И когда она соврала, ей почему-то стало жалко отца, словно он в самом деле выдает людям номерки, принимая грязное белье, и за два рубля моет всем желающим спину и ноги.

И вот теперь нужно было спасти эти растения, отдать им все свое время, и когда выйдут дрова, рубить полки, стулья, бросать в печку любимые книги, тетрадки с записанными лекциями, и когда все это кончится, идти выпрашивать у кого-то, вымаливать и воровать дрова. А на душе было такое категорическое, не допускавшее никаких возражений чувство, что спасти эти растения надо во что бы то ни стало, если даже придется для них воровать дрова. Казалось, что нет уже ни Африки, ни Южной Америки, ни Борнео, ни Суматры, ни Новой Гвинеи, ни всего того, что связано с Лаперузом и Васко-Де-Гамо, с Миклухой-Маклаем, с Ливингстоном, со Стенли, со всеми этими знакомыми с детства именами, и что вся тропическая природа, все редкие растения только здесь, в их квартире и в квартирах соседей-сослуживцев отца, и если она, Хворостова, и ее отец, Иван Иванович, смалодушничают, не спасут эту природу от фашистских бомб, от холода, от зимы, то ученым уже нечего будет изучать и ботаника станет археологией.

Пошли в печку стулья, разрубленные на мелкие куски, и огромный купеческий буфет с резными деревянными завитушками и вензелями, купленный еще покойной матерью (буфет с трудом поддавался топору); пошли в печку сначала книжные полки, потом книги. Все, — даже самое любимое — „Робинзон Крузо“,

подаренный папой в детстве, девичьи тетрадки и пыльные письма школьниц-подруг, перевязанные голубой лентой, как будто и в них есть тепло, и подрамники от картин, но когда Ляля стала снимать одну картину, довольно обычный пейзаж (березки уже осенние и стог сена), задержалась на минуту и повесила картину обратно на то место, где она висела. Так и осталась висеть одинокая картина в пустынной разоренной комнате.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сколько прошло минут, часов, а может только секунд, как Ляля Хворостова увидела этот дом на Моховой, увидела и остановилась.

В этом доме на четвертом этаже жил он и его семья. Семья наверное эвакуировалась. Его куда-то послали не то на фронт, не то рыть окопы. А теперь дом его стоял темный с пустыми черными окнами, квартира его повисла, и все в ней обветшало сразу, словно прошло не два месяца, а тысяча лет, как здесь упала фугаска и только одна стена, свежая, уютная, зеленела, отражаясь как в воде, и было невозможно смотреть на эту уцелевшую стену. Все превратилось в заваль, мебель и его работы, висевшие на стенах, и Ляля знала, что все было тут, почти все, что он сделал, и теперь ничего не осталось, кроме одной этой голой зеленой стены.

И Ляля пошла. Кругом было много снега. На улицах везде лежали сугробы. Какими забытыми казались стоявшие в сугробах автобусы или трамваи. Снег под ногами скрипел уныло, бесприютно.

Прохожие идут, озябнув, всей мыслью уйдя в себя, в прошлое, в будущее, чтобы немножко согреться. Идут машинально. Белые, обмороженные лица с черными, словно уже нарисованными смертью глазами и губами. Какая угловатая механическая походка. А ведь у каждого прохожего есть имя, есть отчество. Может быть жена, которая называет уменьшительно: Витя, Вася, Петя.

Ляля посмотрела с участием на идущего мимо робкой больничной походкой мужчину, завязанного по-детски в теплую шаль. Это наверно жена завязала его.

А в квартире у Хворостовых были сухие субтропики, климат Мексики и Аризоны, и никто на свете, кроме Ляли и ее отца, не знал, сколько силы, сколько смекалки и хитрости, сколько мужества было затрачено, чтобы доставать каждый день доски, щепки, бревна, чтобы дотащить все это до дому, поднять по лестнице, распилить, расколоть, затопить.

Днем в доме, в коридорах и на лестнице было так же тихо и темно, как ночью. Поднимаясь по лестнице, приходилось ногами отсчитывать ступени. Ляля знала, сколько ступеней

до ее этажа. Идя по коридору, приходилось отсчитывать в темноте двери, чтобы не пройти свою дверь.

На лестнице она столкнулась с каким-то человеком. Он чиркнул спичкой, и в темноте осветилось длинное синее лицо. Лицо было не улыбающееся, бесстрастное, и исчезло вместе с погасшей спичкой. Может потому и сбилась Ляля в счете, но поленилась спуститься и начать счет снова. Она была уверена, что и так найдет свой коридор. Вот и коридор, шершавые стены, двери, первая, вторая, третья. Ляля вынула из бокового кармана ключ. Но ключ оказался ненужным, дверь была не закрыта. Неужели отец забыл ее захлопнуть, когда пошел добывать доски.

Как это произошло, Ляля не смогла бы объяснить, но она попала по ошибке в незнакомую, чужую квартиру и там заблудилась. Так глупо, так глупо, — и уже не знала, много ли, мало ли прошло времени, как она сюда зашла. Она долго бродила вдоль стены, трогая ее руками, возвращалась снова, шла вперед, стараясь нащупать дверь в кухню, где на плите вероятно есть светильник — копилка и спички. Дверей не было. Все это было похоже на детство, в детстве в гостях случилось ей так блуждать. Вот дверь. Наконец-то! Она нащупала стену. Стена была гладкая, видимо крашеная. На стене — картины холодные, скользкие. Не кухня, вероятно кабинет.

Она села на невидимый диван. Долго ли она сидела, она не знала. Вдруг она почувствовала, что кто-то трогает ее в темноте холодными пальцами, и самое удивительное, что ей было совсем не страшно от прикосновения чужих невидимых рук.

Потом чиркнула о коробок, и вспыхнула неровным светом спичка, и осветила унылое лицо человека, которого она встретила на лестнице.

Он узнал ее раньше, чем она его. Это был их сосед, научный сотрудник сада. Но лучше бы он не зажигал лампу, а в темноте проводил ее до дверей. Комната была полна замерзших погибших растений, принесенных сюда из разбитых воздушной волной оранжерей.

Какое он имел право! Как он мог допустить до того, чтобы растения замерзли, погибли, когда в кабинете у него стоял огромный письменный стол, когда были стулья, книжные полки, книги, когда на стенах висели ненужные глупые картины, бездарные копии со сладких произведений Беклина и Штука в таких толстых рамах, с такими широкими подрамниками.

Она вышла и хлопнула дверью с такой силой, что удивилась себе.

Погибло шоколадное дерево, погиб банан, погиб кувшинчик, — самое странное растение Ботанического сада, кувшинчик, у которого была милостивая внешность растения, а повадки

животного, и оно питалось насекомыми, заманивая их в себя, где и переваривало еще живую пищу. Погибли орхидеи, а бездарные копии с мещанских произведений Беклина висели на стене и стояло столько стульев, что на них можно было усадить всех спекулянтов с Ситного рынка. Обыватель, малодушный обыватель, ему бы открытками торговать на барахолке, а не изучать растения, не ботаникой заниматься, — жалко, что она не сказала, не крикнула ему все это в лицо.

Квартира Хворостовых выстыла. В ней был уже не климат Мексики и Оризоны, а климат коридора, климат лестницы. Уже второй день не было ни полена дров. Ждали Жоржку с машиной. Он работал на Ладожской трассе и обещал подбросить немножко дров. Отец ушел с утра и до сих пор не вернулся.

Он наверное ходит по улицам возле разрушенных домов и смотрит, не валяется ли где старая, отброшенная воздушной волной доска, и если нашел, то уже несет ее своими старыми руками через весь город, часто останавливается, нагибается, кладет доску на снег и хлопает руками в заячьих детских рукавицах, сшитых ему Лялей. Даже заячьи рукавицы не могут уже согреть обедненную недоеданием его семидесятилетнюю кровь.

Кактусам холодно. Если Жоржка не привезет дров, они погибнут. Они не могут погибнуть, не должны погибнуть. Хворостовы не

допустят, чтобы они погибли. Даже и теперь у Ляли не было к ним любви. Жалость — да, но любви не было. С детства у нее было какое-то недоверие к растениям. Живые, растут, питаются, дышат, даже любят, а не двигаются. Всю жизнь стоят на одном месте, привязанные корнями к тому клочку земли, где стоят. Насколько выше их животные, которым дано не только дышать, но и двигаться. Насколько выше животных птицы, которым дано не только ходить, но и летать. Летающие люди! Летчики! Вот кто чувствует время всем напряжением, всеми мускулами души. У них мускулистые души, у наших ястребков, все бесстрашие, все ловкость, — как птица, они бросаются на врага.

Ляля тоже пошла бы в летную школу, в парашютисты. Она пошла бы, если бы не эти растения. Может за то она их так ненавидит. Но и любит тоже за то. Она проведет их через зиму и летом уйдет на фронт. Не ботаник же она и не давала себе слова всю жизнь провести возле них, как отец. Она даже и факультет-то выбрала, где не было ни ботаники, ни зоологии, ни биологии, — самый лучший на свете — строительный факультет.

Но сейчас не строить следовало бы ей, а защищать построенное. Но видно суждено ей было не летать, а ходить не своей, а медлительной от слабости походкой да собирать,

как старухе, щепки, нет, она сделает все и не даст погибнуть этим кактусам, но уж потом ни за что она не зайдет в оранжерею, даже ради отца.

Кактусам было холодно. Человек, когда ему холодно, может побегать, потопать ногами, похлопать руками, наконец надеть еще один свитер или на пальто еще одно пальто. Но на растение не наденешь шубу и валенки, в движении ему отказано природой. И единственно чем может помочь Ляля кактусам — это затопить хотя бы меньшую из трех буржук, но в доме нет ни полена, ни стула, ни стола, ни полки, ни даже деревянной ложки, ничего деревянного, кроме подрамника одинокой картины, на которой грустят березы и стоит стог сена, ничего деревянного, кроме подрамника и написанных Челдоновым берез.

В дверь стучали. „Отец“, — обрадовалась Ляля и пошла открывать. Показалась доска большая, широкая, тяжелая. У Ляли от ветра погас светильник.

— Папа! Где ты достал такую доску?

Но ответ был не папин, а детский, простуженный, незнакомый.

— Тетенька, купите доску.

В комнате стоял не отец, а какой-то подросток, озябший, длинный, худой.

— Тетенька, у меня карточки вырезали вчера в булочной.

— Купите доску, тетенька.

— Нечем заплатить, мальчик. Нету хлеба.

У нее действительно не было хлеба, хлеб забран на сегодня и на завтра еще утром и съеден весь.

— Тетенька, у меня карточки вырезали вчера в булочной.

Может и не вырезали, но все равно она бы отдала ему весь хлеб, но не было ни хлеба, ни сахара.

Ей сейчас хотелось одного, чтобы он поверил, что у нее нет ничего, но разве поверит?

— Тетенька, возьмите доску. Вам надо.

— Нечем, мальчик.

— Так возьмите.

Значит поверил.

И тут Ляля сделала нечто непоправимое, прекрасное, она отдала ему свою хлебную карточку. И когда только он ушел, она представила себе все последствия того, что она сделала, и в это время пришел отец и тоже с доской.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Настя, Сергеевнина племянница, привела жениха и смеялась за стеной. Жених молчал и видимо пил чай.

Потом Настя повела жениха в Лидину половину знакомить с эвакуированной, он тоже

был эвакуированный и в очках. Лида подумала, что это наверно тот, что приходил на свиноферму кастрировать поросят и смотрел сквозь стекла на Настю. Он и теперь смотрел на Настю, и глаза у него были коричневые, сухие, мелкие, в самом деле как тараканы, и неужели Настя не могла себе подыскать лучшего жениха.

Жених молчал. А Настя рассказывала про Лиду как про постороннюю, словно Лиды тут не было, о том, что она чуть не застыла, сбилась с дороги, да вышла, все-таки нашла дорогу, при этом Настя смеялась мелодично, прекрасно, и Лида не обижалась на ее смех, понимая, что она смеется не над ней, а оттого, что ей весело, смешно, и потому, что рядом жених, поросячий фельдшер.

Сергеевна сокрушалась, жених ей не нравился, видимо гордый, только посматривает все, гляделками-то, будто высчитывает, сколько у Насти добра, тоже „бухгалтерь“. Она узнала про него, что никакой он не эвакуированный, а местный из Верецагинского района, сын бывшего купца, и что у него в Верецагине жена и трое маленьких ребят — „один маля меньше“, а за эвакуированного себя выдал, чтоб ему посочувствовали и не спрашивали, есть ли жена, может она в плену или погибла не от своей смерти.

В другой раз, когда жених подъехал на колхозном рысаке, Сергеевна выбежала на крыльцо

его стыдить, а Настя заплакала и говорила так прекрасно, так одушевляя обидой и девичьей тоской самые простые слова, что Лиде тоже хотелось заплакать.

Но вечером Настя опять смеялась, принесла стенную газету и просила, чтобы Лида нарисовала там, что председатель колхоза Елохов халатно относится к свиноферме и жалеет мелкую картошку для свиней.

Лида сказала, что халатность Елохова никак нельзя нарисовать и что очень трудно нарисовать, что он жалеет картошку.

Но Настя не поверила. „В академии на художника училась, а не может нарисовать“, — видимо хотела она сказать, да пожалела Лиду.

Лида стала прикидывать в уме, как бы посмешнее нарисовать обиженных Елоховым свиней, но потом подумала, что Настя не права, ей все кажется, что недодают картошки свиньям и не замечают достижений на свиноферме, не права она была потому, что очень любила своих свиней и свою работу на свиноферме.

Потом за Лидой приковыляла Сундукова, дебелая рябая сторожиха: Лиду в избе-читальне ожидают старики.

Идя рядом с Сундуковой, которая, приближая к Лидиным глазам свое большое круглое рябое лицо, доверительным голосом рассказывала о каких-то ведрах, которые она купила

в Краснокамске на рынке, ведра новые, но оба текут, что она завтра же поедет в город на рынок и плюнет в шары этой спекулянтке, чтоб в другой раз не „омманывала“, Лида думала: что бы сегодня почитать старикам? Когда она читала, она каждый раз боялась, что старикам не понравится выбранный ею рассказ или отрывок и старики осудят писателя и скажут о нем с усмешкой соленое мужицкое слово.

Старики ее ждали в избе-читальне, они сидели за столом, курили самодельные трубки, и один из них, самый старый и полуглухой, отец Елохова, пришел даже с Федькой-внуком, видимо для того, чтобы тот ему прокричал в заросшее седыми волосами ухо, что сам старик не разберет.

Книжная полка сельской библиотеки стояла небогатая, три-четыре классика, очень много брошюр и замасленный, ветхий „Дон-Кихот“ с множеством недостающих страниц. „Что бы сегодня почитать?“ — подумала Лида и взяла „Дон-Кихота“.

Старики с сочувствующими лицами слушали о том, как Дон-Кихот заступился за мальчика, которого избивал хозяин, и Лида чувствовала особую радость и непонятное удовлетворение и в этот раз, как всегда за то сочувствие к герою, которое старики высказывали прямо, и за то осуждение злодею, которое высказывали они резко, и оттого живой герой

в умной книге становился еще живее и ближе.

И только старик Елохов никак не мог разобрать имя героя.

— Тонкий тот? — спрашивал он.

— Да нет, дедушка, Дон-Кихот, — кричал ему в ухо Федька.

— Тонкий этот?

— До-он-Ки-хо-т! — кричал Федька.

А старик смеялся не то своей глухоте, не то странному имени героя.

И Лида думала, возвращаясь домой и смотря на близкие яркие звезды, о том, что прочитанное уже срослось с хозяйственной, неторопливой, рассудительной душой стариков и стало их достоянием в той же мере, как их детство, юность, прожитые годы, как их душа, окрестные поля и привычки, и что это теперь навсегда, до самой смерти.

Итти надо было по морозу, по уютно скрипевшему под ногами снегу, а звезды были близко, и было так странно, что они сейчас были ближе, чем невидимый, закрытый ночью и лесом дом Сергеевны, и думалось об одноруком Сервантесе, инвалиде давно ушедших в века войн, о Сервантесе, который, как эти звезды, был далеко и в то же время рядом. От однорукого Сервантеса мысль бежала к тому, о чем думалось часто и о чем было страшно думать: жив ли, а может в плену, в рабстве у немца. И опять мысль летела через века назад,

к Сервантесу, ведь однорукий, забытый, он все-таки бежал из рабства, из плена,—и хоть бы вернулся и мой, хоть без руки или без ноги, и о нем почему-то думалось без имени, по-бабьи — „мой“. Где он? Жив ли?

А звезды были близко, яркие, большие, живые, и уже показался лес и дом Сергеевны. Все уже наверно спали. Залаяла собака. Стало холодно, одиноко, бесприютно, как в ту ночь в метель, когда она сбилась с дороги. Собака лаяла, как лают собаки зимой, заунывно, по-волчьи.

Лида открыла дверь. В избе пахло овчинами. В обледенелое окно смотрела луна. И луна тоже была близко, но оттого что она была близко, было Лиде неприятно. Луна была холодная, пристальная, и Лида посмотрела на луну и отвернулась, но в Лидиной половине в темном окне тоже была луна. Собака на дворе лаяла уже глухо. Лида разделась, легла рядом с детьми и почувствовала детские теплые руки и спины возле себя, протянула руку и обняла их спящих, того и другого, и руке стало тепло.

На другой день в воскресенье светило очень ярко солнце. Горы опять стали ближе. И с гор на лыжах летели вниз, неслись, счастливо ухая, школьники.

По дороге ходили девушки, пели. С ними вместе ходила и пела Настя. Один голос

ясный, колоратурный, выделялся, одушевляя радостью и грустью обыкновенные слова.

Шла Сундукова с новыми ведрами и улыбалась всем приветливо. И лицо у нее было отчего-то счастливое, словно она выдавала дочь замуж или ей сделалось все доступно и она могла бы, если б только захотела, вот так же, как эти школьники, нестись вниз на лыжах с крутой огромной горы.

Потом мимо Лиды пронеслись кошевни, лошадь бежала резво, под дугой звенели бубенцы, а в кошевнях сидел старик Тиунов, один из тех, что слушал вчера „Дон-Кихота“, и не оттого было весело и хорошо, что он сидел в кошевнях и лихо куда-то ехал, а от того, что в руках у него была гармонь и старик играл на ней что-то веселое, деревенское, что играют только одни молодые парни. Играя, он смеялся, показывая белые свои зубы, и, поровнявшись с Лидой, вдруг остановил коня:

— Давай подвезу.

Вез он Лиду так быстро, что замирало сердце, и Лиде казалось, что она летит вместе со школьниками на лыжах прямо на деревья, и дома.

— У-ух!—крикнул Тиунов и остановил коня возле Сергеевниных ворот.

Воскресный день прошел. И опять начались дни, наполненные детскими голосами в классе, стиркой, заботой о детях: у Вани не было верхних рубашек, у Гали жал ногу валенок,

Бородатый важный почтальон Петр Тихонович в длинной шубе стучал обыкновенно по утрам толстыми пальцами в стекло, приносил газету или письма Сергеевне от сыновей с фронта.

— А вам нету ничего, — говорил он Лиде и таким тоном, словно от него зависело, будут или не будут письма.

— А вам сегодня нету, — говорил он, таинственно поглядывая, словно уже знал день и час, когда придет Лиде первое письмо, и письмо будет от него, от Челдонова, ведь через справочное бюро он может узнать ее адрес.

Но писем не было.

Писала Лида знакомым, родственникам, соседям по квартире в доме на Моховой, в том числе и Садыкиной.

Сергеевна безжалостно расспрашивала иногда о муже — с характером был или нет (больше всего оскорбляло, что она спрашивала о нем в прошедшем времени — был), о том, как жили, о квартире, о вещах.

— Вещей-то у тебя поди осталось ладно, — говорила она. — Квартира-то на котором этаже?

— На четвертом.

— А я почитала на шестом. У нас говорят там и семиэтажек полнехонько.

Должно быть в представлении Сергеевны высота этажа от земли означала уважение, достаток.

— Не так, поди, жила-то? Комнат-то сколько было?

Но Лиде почему-то не хотелось рассказывать о квартире, о своих брошенных там вещах, словно, своим рассказом она могла разрушить тот мир, который остался в Ленинграде, на Моховой, и был здесь у нее внутри, в ее сердце.

В ее душе с того времени, как она приехала сюда, на Урал, жил образ ее дома, ее квартира, окна, улица. Дом был светлый, летний, то утренний, с убегающей музыкой рояля, то по-вечернему живой, с огнями в окнах. Он наполнял всю душу своей тишиной. Он был не в Ленинграде, а здесь с ней.

Но сегодня пришел Петр Тихонович, не стуча в окно пальцем, а прямо прошел в Лидину половину и молча отдал ей письмо.

Оно было от Садыкиной. Садыкина писала о себе, о знакомых, о суровой зиме в осажденном городе, знакомыми, немножко газетными словами, и только в конце письма кратко уведомляла, что в дом на Моховой еще осенью попала фугасная бомба и разрушила стену. Квартира обвалилась. Ее, Садыкиной, и детей не было в тот час дома. Они остались невредимы.

Лида отложила письмо.

Образ дома помутнел, почернел в ее душе и распался на куски, словно воздушная волна донеслась и сюда.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В школе во всех классах собрались бабы и девки со всего колхоза, но не на собрание, не на ликбез, не для того, чтобы выслушать сухой, строгий доклад директора школы Елизаветы Маврикиевны о том, какие у ребят нынче успехи, собрались они сюда, чтобы лепить пельмени.

Сто тысяч штук порешили они вылепить за две ночи, а потом заморозить их на дворе, зашить в мешки, а на каждом мешке разборчивой рукой написать: „Бойцам и командирам Северо-западного фронта. Если вкусно, то сообщите в письме, товарищи бойцы.“

И за пол-литра водки наняли Ваню Сухонького, чтобы, во-первых, он покараулил пельмени, постоял на дворе, покуда они будут там стынуть, во-вторых, пособил бы девкам молоть мясо: бычка и четырех свиней.

Но посреди ночи пришел этот в очках, поросячий фельдшер, да пьяный к тому же, и стал Насте говорить разные нежные слова, стал божиться, что жена его прогнала, потому что спекулянтка, а он не захотел с такой спекулянткой жить, на одной постели спать.

— А ну тебя. Вруша! — сказали ему мирно бабы. — Зачем-от врать?

Потом он стал просить баб (стыда у него нет), чтобы они сварили пельменей и накормили его, он сегодня за весь день только и съел, что один компот в Краснокамске на Бумком-

бинате, да и компот-то был не из фруктов, а из сушеной моркови.

— Ах ты, очкач, — сказали ему бабы. — Люди на морозе кровь проливают, жизни своей не жалеют. А ты в тылу прилип.

Ушел. Хорошо и сделал, а то вывести бы его на двор да воткнуть бы его ногами в сугроб ради смеха. Пельменями его корми!

Ваня Сухонький поморозил себе нос, стоя во дворе, — тогда была стужа. Девки принесли со двора снегу и стали тереть Сухонькому нос. И смеху-то было, соленых слов, нос-то у Сухонького всегда был белый — и на морозе и в жару. Чуть не оторвали девки нос Сухонькому. А кто-то ради смеха сказал, что это ничего, что нос можно вылепить из теста. И вылепили нос из теста, и он стал переходить из рук в руки. А нос у Вани Сухонького, тот что на лице, был тоже вроде пельменя. Ваня улыбнулся шутке, широко посветлев глазами, и стал вдруг красивым, как Иван-царевич.

Принесли с мороза пельмени, насыпали в мешки, зашили. А написать на мешках попросили Лиду. На одном мешке попросили Лиду, чтобы нарисовала девичью руку с пельменем. Лида, прежде чем нарисовать на мешке тушью, долго стояла и смотрела на бабьи и девичьи руки, на быстрые широкие пальцы, лепящие пельмени, на бабьи широкие светлоглазые лица, словно и лица тоже хотела нарисовать на этом мешке.

А Сухонький носил мешки и застенчиво, виновато улыбался. Лида смотрела на него, и ей хотелось сказать ему что-нибудь ласковое, хорошее и отговорить его, чтобы он не брал у баб пол-литра, а помог бесплатно, но потом подумала, что не стоит это говорить, поймет и сам.

Долго потом Лиде вспоминалась эта ночь, и пельмени, и девичьи пальцы, и бабий смех, и мешки, которые Ваня Сухонький увез в Краснокамск. Бойцы Северо-западного фронта, далеко там, возле Старой Руссы, где осталась Лидина старуха-мать, прочли наверно уже письма, зашитые вместе с пельменями в мешки, а пельмени сварили в котелке над костром и съели. Письма писала Лида за всех, а диктовала их тоже за всех Настя, и даже самые обыкновенные, самые знакомые, самые простые на свете слова она выговаривала так музыкально, незнакомо и прекрасно, что Лиде было обидно, что слова эти на бумаге сразу завяли, выцвели. Но что делать, не зашьешь же Настин голос в мешок и не пошлешь вместе с пельменями на фронт.

Писала Лида эти письма, ужасно волнуясь за судьбу каждого слова, и когда писала, надеялась и боялась надеяться, не верила себе, — а вдруг какое-нибудь из писем попадет к нему и по почерку он сразу узнает ее, Лидину руку.

После двух бессонных ночей в школе на уроках слипались глаза, в голове мутнело и, ре-

шая простую арифметическую задачу на доске, Лида сбилась и никак не могла решить. Но Пепеляев, тот самый, что выпустил в первый день воробья, поднял руку, встал и подсказал ей ответ. И глаза у него были плутоватые в эту минуту, насмешливые, как в тот раз, когда он держал в руке воробья.

Дорога до Сергеевны, до дому показалась в этот раз Лиде утомительной, длинной. И как только пришла, даже не раздеваясь, сразу уснула.

Приснилось Лиде, что она не уходила из школы, а сидела в классе. И вдруг у каждого школьника и у каждой школьницы из рукава вылетела птица. Птиц было очень много, все голуби, больше чем детских рук, и все они бились в стекла. Птиц становилось все больше и больше, и Лида решила, что надо открыть окна, но как их открыть, когда вторые рамы. Рамы вытащили, окна распахнули, птицы улетели, и в школу с улицы понесло холодом, снегом. Вошла Елизавета Маврикиевна, но ничего не сказала и ушла.

Лида проснулась. В комнате уже был день.

Ваня и Галя очевидно были во дворе. Надо было скорее бежать в школу, чтобы не опоздать на урок.

И странно, у Лиды на уроке русского языка было такое чувство, что вдруг дети поднимут руки и из рукавов у них вылетят голуби, до того рельефный, убедительный был этот сон.

Дома Сергеевна посочувствовала ей.

— Голуби? Ну, значит, новость будет.

И Лида поверила, не Сергеевне, а своему чувству, и ждала письма.

Каждое утро приезжал на резвом колхозном жеребчике Петр Тихонович и, путаясь в полах длинной шубы, степенно шел по сугробам к окну. Прежде чем постучать пальцем, он приближал свое бородатое лицо к самому стеклу и заглядывал в избу. И Лида, если она была в этот час дома, выходила к нему на снег, задыхаясь и бледнея от предчувствия чего-то неизвестного, страшного и вместе с тем радостного, но Петр Тихонович говорил „здравствуйте“ и протягивал Сергеевнину газету. Когда он шел к кошевням по сугробам, почему-то не проваливаясь, словно на лыжах, и запахивал полы своей длинной широкой рыжей овчинной шубы, прежде чем сесть и взять вожжи, Лида все стояла и смотрела на него, словно вот-вот он вернется и тихо, как в тот раз, отдаст ей письмо, которое он забыл отдать, и письмо это будет от мужа. Но у Петра Тихоновича была хорошая память. И Лида ждала следующего дня. Действительно, на следующее утро Петр Тихонович принес ей письмо, но письмо не от Челдонова, а официальное, из Облоно, напечатанное на машинке. Ее приглашали в город на совещание педагогического актива.

В вагоне пригородного поезда было тесно,

жарко, душно, пахло махоркой. Ехали стоя рабочие, жившие в деревнях, ехали в Краснокамск, в Курью, в Молотов на заводы. Иные сидели и дремали. Ехали колхозницы с молоком на рынок. Вошла слепая девушка с белыми похожими на камни, глазами. Она запела. Пела она до того незнакомо, до того прекрасно, видимо пережив в своей душе все слова своей песни, что Лида не верила себе, смотря на рябое лицо слепой, на ее толстые губы, на ее глаза, грубые, словно вставленные камни, не верила себе — как может быть такой голос, такая душа у некрасивой, давно немывшейся девушки, не верила себе, потому что никогда в жизни не слышала ничего прекраснее ее песни.

Как ветер, песня сдунула со всех лиц дремоту, равнодушие, усталость и, сдунув усталость, скуку, вдунула в каждую душу сильную мысль и уважение к тому, что было вокруг.

И Лида, смотря на небритые, заросшие колючками лица рабочих, думала о том, что каждое утро они так вот и ездят стоя и, про работав весь день, в душном, набитом людьми вагоне возвращаются домой, чтобы завтра опять ехать на завод в город. Смотря на своих соседей по вагону, Лида думала о песне, которую пела слепая. Слепая, видно сама сложила эту песню. Песня ее была о войне, об Урале, о высокой рябине. Ветви рябины, война и Урал все чудесно сливалось в этой

песне, как сливаются вместе весной ручьи. Думая о песне, Лида думала и о том, что вот эти люди, нескладные, небритые, плохо одетые, с осунувшимися от работы лицами, воюют своим трудом и заботой с промышленностью всей Европы, воюют и победят. И в Лидиной душе нетерпеливо и гордо зашевелилось то, что она скажет сегодня горячо на совещании. Почему даже советские ученые, составляющие учебники, ну, скажем, географию, так подробно пишут о самых маленьких, скажем, немецких или австрийских, или даже португальских городках и ни в одной географии ничего не говорится ни о Краснокамске, ни о Нытве, ни о Курье, а ведь в Курье, в простой уральской деревне, стоят такие заводы, каких нет ни в Португалии, ни в Испании, а может даже во многих больших немецких городах. И сразу же Лиде стало стыдно этих слов, словно она их уже сказала на совещании, как всегда ей бывало стыдно говорить на многолюдных собраниях, словно она может неожиданно сказать какую-нибудь глупость.

— Курья! — сказал кто-то.

И к дверям потянулись рабочие, которым нужно было в Курью. И хотя Лиде нужно было дальше, в Молотов, но она тоже потянулась за всеми и вышла на площадку подышать свежим, морозным утренним воздухом. В вагоне так накурили и надышали. Рабочие вышли. Поезд тронулся. Мелькнуло белое

низкое здание, перрон. Ит на перроне — боже мой — Лида увидела красноармейца, и с его дорогим Челдонова лицом. Лида хотела было прыгать на ходу, но она не успела. Поезд пошел быстро. И был ли это Челдонов в шинели или кто-то другой, похожий на него, она бы узнала, если бы поезд не пошел так быстро. Лида была рада, что она отпустила его. **ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ** Над рынком не было солнца. Вместо солнца над рынком днем висела луна. И люди стояли или бродили, говоря что-то. Лица у всех были белые, как помороженные. Глаза были обведены синей опухолью, и у некоторых вместо глаз темнели мутные пятна без белков. И Ляля подумала: может, у нее тоже нет глаз, а вместо глаз обведенные толстой опухолью мутнеют темные пятна. Она развязала платок и достала отцовские штиблеты, со столпачьими сбитыми каблуками. Ни за что, Ляля не вынесла его штиблеты на рынок, но папе теперь они были не нужны, а в квартире не было даже щепки, нечем было обогреть шапки кактусы, и еще один такой день — и кактусы погибнут. Люди с глазами без белков носили в руке дуранду, хлеб, обфосанные конфеты, носили и предлагали молча, но Ляля старалась не глядеть на все это и все равно глядела при-

стально, жадно, она пришла, чтобы отдать отцовские штилеты за полено дров, и ей не следовало глядеть на хлеб, дуранду и обсыпанные конфеты.

Какая-то старушка сидела на снегу, перед ней лежал черный платок, а на платке стояли хрустальные бокалы и графин. Боже, мой, кому же нужен графин, зачем она пришла сюда, чего ждет здесь на снегу. Или она думает, что есть такие сумасшедшие, запасливые люди, которые отломают от последнего куска половину и отдадут старухе за ее графин и хрустальные стаканы, придут домой, поставят графин и стаканы на стол. Зачем?

Зачем сидит здесь на снегу старушка, мерзнет и ждет несбыточного своего покупателя. И подумала: Ах, если бы у нее кусок хлеба, отломил бы она половину и отдала ей и унесла домой этот графин и хрустальные стаканы. Но не было у нее хлеба и не будет до завтра.

Какой-то человек стоял в брезентовом пальто держал подмышкой два березовых полена.

Усмешка поползла по его широкому лицу, показались редкие зубы:

— Да в таких штилетах при Николае, наверно, в первом ходили. Из музея, что ли?

И отвернулся. Из брезентового кармана достал кусок дуранды, откусил и стал жевать. Когда жевал, двигалось все: брови, щеки, даже нос.

— Из театра что ли?

Рассмеялся, откусил дуранду от большого куска, что держал в руке, и опять начали двигаться брови, щеки, губы, даже нос.

Кроме этих двух толстых березовых полеш подмышками у жующего гражданина, других дров не было на рынке.

Как ему объяснишь, что дрова нужны не для себя, не для того, чтобы самой согреться и вскипятить чаю, тепло нужно для того, чтобы не погибли кактусы, и что если она сегодня не достанет дров, то они замерзнут.

Протянул правую руку, на левую надел папин штиблет, а пальцами правой стал трогать, мять кожу. Усмешка поползла по лицу медленная, и опять показались редкие зубы.

— Жалко театры самые большие эвакуировались. Вот там взяли бы. Ручаюсь.

Из другого кармана вытащил уже не дуранду, а кусок хлеба, откусил и опять начали двигаться брови, щеки, губы, подбородок, нос. Протянул руку со штиблетом к Ляле, чтобы отдать штиблет, но словно передумал, не отдал, а поднес штиблет к лицу, плюнул, потер пальцем, потом усмехнулся, и усмешка поползла еще медленнее, сказал:

— Кожа, конечно, шавро. Не теперешняя. Но, мне это ни к чему. Суп что ли из них варить?

А усмешка все ползла, ползла по лицу: вот-вот покажутся редкие зубы.

Отвернулся. И должно быть откусил по-

рядочный кусок хлеба. Видно, как шевелилась сзади шея.

И вот в эту секунду Ляля возненавидела его всеми силами души, не за усмешку, нет, даже не за кусок хлеба, а за то, что шевелилась шея. Паразит! Дрова-то наверно воровал где-нибудь в больнице, оставляя замерзать больных, и сюда приносил продавать.

Она вдруг вырвала у него оба полена и побежала. Догонит, убьет, все равно эти дрова ей нужны.

Бежала и чувствовала за спиной тяжелое чье-то дыхание, значит гнался, значит был рядом, сейчас схватит.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Настя вышла замуж за Ваню Сухонького. Лиде пришлось освободить половину для молодых, переехать в деревню к тете Дуне.

С горы, за день ставшей рыжей, катились черные ручьи, с шумом неслись и пенились на самой дороге. В ледяной воде стояли коричневые деревья. Косо летали галки и кричали простуженно, как проводница в вагоне.

На толстой, похожей на бутылку деревянной ноге бежала по дороге, торопилась тетя Дуня. В лавку привезли керосин и печенье, будут давать семьям фронтовиков.

Вечером тетя Дуня, стуча деревянной ногой, пришла в Лидину половину, принесла по-

казать фотографии семи сыновей. Все семеро ушли на войну, а пишут только трое. Двое погибли, было извещение. А от двоих. Уже шестой месяц нет ни слуху, ни письма. Лицо у сыновей было тети Дунино, круглое, с детскими смеющимися губами. — Обожди. Война кончится, сказала теть Дуния. — Третье дай бог вернутся. А может и все семеро. Не верю я бумаге, сердцем чувствую, что живы. А бумагу-то какой-нибудь казначей писал, перепутал.

— Не казначей, теть Дуния.
— Ну, писарь. А много писарь знает? Своими-то глазами не видал.

— Правда, — согласилась Лида. — Писарь в канцелярии сидит. От передовой это далеко.

— Какой-нибудь косой. Вроде нашего бухгалтеря. Сидит, от всего отписывается цифрами. Тот цифрами, а тот буквами. Как два брата.

Помолчала. Завернула нежно фотографии в старенький мифчик, потом опять развернула, чтоб еще раз взглянуть. Спросила Лиду полупотом, неожиданно, как-то по-девичьи, как подружку.

— Какой тебе больше? А?
— Все семеро, — ответила Лида и рассмеялась.

— Обожди. Война кончится. Придут. Выберешь.

— Зачем же мне выбирать? У меня муж есть.

— Есть. Сказала, и обмерло сердце. Есть ли? Видела в прошлом году в феврале на перроне в Курье с площадки вагона. Может это был он. Рядом. В каких-нибудь двадцати километрах от той деревни, где она жила. Но как она могла разыскать его, не зная номера части. Может он был в командировке по какому-нибудь делу и сразу уехал. Куда? Кто может знать? Ходила по всем войсковым частям, бывала не раз и в Молотове и в Верещагине и на станции Юг, спрашивала, отвечали — нет такого и не было. А может все-таки был, частей в области много. Что если это был он, лежал где-нибудь в госпитале, может даже рядом в Краснокамске, а потом и поправился, уехал снова на фронт, так и не узнав, что она видела его из вагона. Как он не почувствовал спиной ее взгляд! Ведь она всем сердцем смотрела на него в ту секунду, всем существом. Конечно, это был другой, от и ман.

Жалко, что ты замуж прежде времени выскочила, — словно не слышала ее, говорила себе тетя Дуня. — А то бы вышла за старшего. Он и годами к тебе ближе. Характером он имениник. Веселый. И ребят твоих, если бы даже не от мужа, а даже так где пригуляла, не прогнал бы.

И за этими наивными, смешными словами угадала Лида душевное движение тети Дуни. Славная ты, нравишься мне, даже в невестки к себе взяла бы, — хотела этим сказать тетя

Дуня, а может что-то другое, более сложное, — что если твой даже погиб, жизнь идет, ты молода.“ Нет, не может быть, не это хотела сказать тетя Дуня.

В воскресенье все утро Лида проверяла ученические тетрадки, потом читала Ване и Гале детскую книжку, но они слушали плохо, смотрели в окно.

Гора уже была близко с острой верхушкой, покрытой пихтовым лесом. Небо было как талая вода. Голые ветви черемух чертили небо под окном. Прилетела синица и села на ветку. Капало.

Вихляя туловищем, ходила по двору тетя Дуня. Привела лошадь, запрягла и, сев в телегу, поехала на ферму за молоком.

Вечером при свете лампы Лида читала Историю древнего мира и обдумывала слова, которые надо сказать завтра в классе. Как сделать так, чтобы древний мир стал близким и нужным и чтобы он запомнился ребятам надолго, если уж нельзя, чтобы запомнился навсегда. Почему-то вспомнила, как ехала зимой с председателем колхоза Елоховым из Краснокамска ночью в санях. Висела синяя луна. Стояли круглые ели, покрытые снегом. А Елохов всю дорогу читал наизусть стихи, которые выучил, когда был школьником. Всю дорогу читал Сурикова, Плещеева, Никитина, Кольцова и Некрасова. И Лиде казалось, что, если бы они ехали не два часа, а неделю, он все читал бы и читал наизусть стихи.

Только позже и как-то не наместе, за столом, полным гостей, на Настинной свадьбе он сказал ей тихо, как-то странно незнакомо глядя на нее, почему он тогда всю дорогу читал ей стихи. Не оттого, чтобы похвалиться памятью, а чтобы не сказать ей как-нибудь того, чего нельзя было говорить. Она ему нравилась. А он был женат. И у нее тоже был где-то муж, не то на войне, не то в плену.

— А зачем же вы это говорите сейчас? — хотела она сказать и чувствовала, что не надо это говорить, и все-таки сказала.

Он глядел на нее странно, настойчиво, стараясь перехватить и задержать глазами ее взгляд.

И после того ей было стыдно почему-то Сергею и Настю, и она старалась к ним не заходить.

Заметив Елохова еще издали, она как-то сразу угадывала, что это именно он, и всякий раз хотелось свернуть в сторону или вернуться назад, здоровалась она с ним, не глядя на него, и торопилась пройти мимо.

Лида читала Историю древнего мира, записывала на бумажке даты и имена. А тетя Дуня сидела на скамейке и вязала носки, возле ее деревянной ноги-бутыли играл котенок клубком и трогал дерево ноги лапкой. Дети спали.

Утром кричали петухи. Лида вышла из дому и оглянулась. На горе стоял лось и смотрел на нее.

Ручьи на ночь покрылись тонким льдом. Лед под ногами ломался, выступала вода. Закричала труба. ЗакамытэЦ протяжно и заволокла небо густым дымом. А лось все еще стоял на горе.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Девичьими голосами пели старухи про широкую реку, про Каму. Песня становилась все моложе и моложе, подошли и запели девки, и Настин голос выделялся, как зеленая весенняя ветка черемухи среди осенних кустов.

Прошла сторожиха сельсовета Сундукова с полными ведрами на коромысле. Ее остановила проходящая, видно приезжая из Кудымкара.

— У нас речка, звать Иньва, — сказала она. — А вода в ней — у! Зубы заледенеют. Брусника на снегу, не вода! — А ты попробуй нашу, — рассмеялась Сундукова и остановилась. — Потом хвали свою.

На завалинке сидел сосед Парфен Иванович и точил узкий нож. Собирался резать свинью. Поглядела тетя Дуня в окно, увидела, идет какой-то в шинели и прихрамывает. Позвала Лиду.

— Это не твой ли муж? — Лиде стало плохо, хочет подбежать к окну, а ноги не идут, как во сне.

И вдруг тетя Дуня заголосила и, стуча
деревянной ногой, выбежала во двор. Приехал
ее раненый сын Анфим. Шел в избу с ней
рядом и разговаривал не спеша, как чужой,
посторонний. Уже вся деревня была здесь
у окна. Стоял Парфен Иванович с ножом,
Сундукова с полными ведрами на коро-
мысле.

Пошли все в избу. А на столе уже самовар,
шаньги, две поя-литровых бутылки с водкой,
в кринке из-под молока пенилась брага.

— Не ждала я тебя, Фима. Сердце-то
слепое, гляжу в окно, кричу жилище. Не муж
ли твой приехал? Не ждала я тебя, не гадала.
Шаньги-то вчерашние, невкусные. Сердце-то
у меня безглаз.

Анфим молчал. Молчали все. И каждый
почувствовал, но больше всех Лида, что мол-
чание это было значительнее слов. Каждый
думал о войне, о своих близких.

Парфен Иванович унахлил в стакан водки,
ввнил и, нюхая огурец, бойко сказал:

— Приезжаю я в Катеренбург. Ныне Свер-
дловск. Есть такой знаменитый город.

— Тыр, тыр языком. Словошлеп! — крик-
нули на него бабы. — Твое знаем! Дай Анфима
послушать.

Лида у Парфена Ивановича стало кислым,
он отложил огурец и обиженно отодвинулся
от стола. Дыша Лиде в лицо водкой и таба-
ком, пожаловался:

— У бабы ум, что выстрел. Известно дело. Слова наперед смысла. Зачем только газеты выписывают. Какое ваше мнение?

Лида промолчала.

Вошел старик Елохов, поцеловал Анфима.

— Немця хоть единого убил? — спросил он строго.

— Не знаю дед, не считал, — рассмеялся Анфим. — Стрелять приходилось.

— Ну, а Гитлера, как его звать, самого-то не видел?

— Не видел.

— Не подходит значит близко, боится осколка.

— То-оч-но, дед, — кивнул Анфим головой.

— Ну, а правда это, что он под землей себя спрятал, а сверху подушек накидал, чтобы бомбе падать было мягче. У всех германок собрал по подушке. Правда это или так?

И старик, не ожидая ответа, рассмеялся, помолодев, и сел к столу.

— И это тоже возможно, дед, — сказал Анфим.

— Ну, а на чем же германки спят? Под голову-то что себе стелют?

— А пусть их! — сказал Анфим. — Нам-то что за них беспокоиться.

— А жену-то он тоже с собой спрятал? А? Детей-то?

— Он, говорят, неженатый.

— Вот как, — сказал дед, — Что же он, из

скопцов, что ли? Или горбатый? Форму-то он какую носит?

Пили чай с шаньгами. Бабы спрашивали Анфима про войну. Девки хохотали смущенно и шептались. Старик Елохов глядел в окно. Анфим что-то рассказывал интересное, это было видно по оживленным лицам. Но тетя Дуня не слушала и счастливо плакала.

— Приезжаю я в Катеренбург. Ноне Свердловск, — подсел к Лиде Парфен Иваныч и дышал водкой и табаком прямо ей в лицо. — Сажусь, конечно, в трамвай.

Лида слушала пьяного Парфена Иваныча с трудом, только чтоб его не обидеть, а самой хотелось подойти ближе к Анфиму, послушать, что он рассказывает. Но подошла не к нему, а к тете Дуне и обняла ее.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Посмотрела Лида в тети Дунино окно: стоят девять девок, ждут, когда проснется Анфим.

А за девками гора большая, летняя, светлозеленая от полей. Над девками высоко летят птицы.

Прибежали дети, Ваня с Галей, звали в лес.

— Мама, помнишь, ты же обещала.

— А вы сходите, — взяла сторону детей тетя Дуня. — Ягод сегодня много.

но Взяли берестяной туля, и пахнувший брагой
Вышли. А девки, все девять, уже сидели у на
скамейке и пели, как ночью. Над зеленой го
рой висело синее облако, словно овымазанное
в голубице. Лес чернел и гнет. — Зоналтрэш и
оте Свернули влево, к Кузьминке. — от мифи А
вте Неслась речка. Над водой висели две жер
ди, заменявшие мост. Вода клокотала. Лида
перенесла Ваню. А Галя заплакала, и дурочка,
подумала, что ее забудут на том берегу. —
— Дети бѣжами по траве. Вдруг сразу лес со
всех сторон. То крупные черные шишки, то
острые ели. Повеяло холодом. Что-то белело.
Лида подумала: снег. Подымалась круто гора,
карабкались обгорелые деревья. — Золоток йом
зи — Мама, а мы не заблудимся? — спросил
Ваня.

— Нет, а ты, оказывается, трус.

Пахло мхом. Лида наклонилась. Висели
отпотевшие, синие, как иней, еще твердые
ягоды голубицы. — Вытащили туую крышку туяса. Бросили на
дно первые ягоды. Из туяса повеяло, как на
колодца сыростью и глубиной. — А
— Из-за горы выцели школьники с корзинками
и поздоровались хором:

Здорово-те, Лида, Николаевна!

— Не здорово-те, а здравствуйте, — попра
вила их. — Лида до Ик подумала привычно, — как
в школе. — Учатся хором и читают правильно,
а говорят как старухи. Это потому, что дедат

гоги не обращают внимания на разговорный язык.

Воображались. Все стало далеким: красный закат, и деревья, и особенно кирдячная труба ЗакамТЭЦ.

Речка неслась под жердями. Из воды выступали белые камни. Лида крепче прижала Галю и подумала: «Если закружится голова, надо прыгать, и лучше прыгнуть с ребенком, чем упасть».

Ваня ждал на том берегу. Ему показалось, что за кустом стоит волк.

— Волки бегают только зимой.

— А летом они где?

Лида промолчала. Она и сама не знала, где летом волки. Наверно убегают дальше в лес.

Легкий, как кузнечик, стук прыгал в кустах и отдавался в сердце. На траве, подложив под себя ноги, сидел Парфен Иванович, поддевая на молоток, отбивал косу.

Здравствуйтя, — сказал он.

— Не здравствуйтя, а здравствуйте, — нуть по привычке, не поправила его Лида. И рассмеялась от стыда.

Парфен Иванович поглядел на нее своими увядшими, как смородина на рынке, глазами.

— Много? — Подошла, вихляя туловищем, тетя Дуня и заглянула в туяс. — Мало, то как. И пирога испекчи не с чего будет.

Было еще нетемно. Но Лида уже зажгла лампу. Уложила детей спать, а сама хотела по-

читать. На столе лежал толстый том Харди „Твесс из рода д'Эрбервиль“, привезенный Елоховым из краснокаменной библиотеки по записке Лиды. Свет лампы упал на стену. Осветился этюд. Гаврилкинский сруб и сам Гаврилкин, уже поднявший бревно, чтоб его положить на другое. И словно в первый раз за все эти два года Лида увидела этюд. Все сразу было тут: и день, когда они шли вместе, последний день, и плач ночной птицы, и как он вихрастый, ушел, исчез неужели же навсегда. Только этот день, как будто не было у нее с ним тысячи других совместно пережитых дней.

Лида дунула в стекло, лампа потухла. Но даже в темноте, неплотной по-летнему, был виден, правда смутно, этюд. Лида вышла на улицу, села на скамейку. Земля остыла и слегка холодила пальцы голых Лидиных ног.

Где-то близко уже стучал поезд и, пыхтя, тяжело пробежал. Окна в вагонах были открыты и ярко, по-летнему, освещены. Поезд пробежал на запад, скорее всего в Москву. И Лида подумала: он так и пойдет почти до самой Москвы с освещенными окнами. Фронт уже от Москвы далеко.

У Парфена Иваныча в избе напевал патефон. Голос был мужской, но мягкий, и оттого, что слова были из другом, незнакомом языке, они казались лиричней, чем были на самом деле.

Неслышно подошел председатель колхоза

Елохов, тихо поздоровался и попросил разрешения сесть рядом.

Долго сидели молча. Потом Елохов кашлянул и спросил:

— А книжка интересная, Лидия Николаевна, которую я привез вам из Краснокамска?

— Еще не читала.

— Про что в ней написано? Мне ее сначала не хотели выдавать на том основании, что далеко и задержите. Да я их убедил, что вы прочтете за пять дней.

— Не знаю, прочту ли. Постараюсь прочесть.

Лидия замолчала. Она невнимательно слушала, что говорил Елохов. Говорил он о колхозных делах, о войне, о том, как косят бригады, и почти так же, как если бы отчитывался на собрании, в тех же выражениях. Но в голосе было что-то другое, недоговоренное, даже грустное. И Лидия подумала, что сейчас он говорит так же, как зимой читал стихи, для того чтобы не сказать ей того, чего он не должен ей говорить. И вдруг совсем неожиданно и как-то слишком отчетливо, как говорят это только в романах, он сказал то, что не имел права ей говорить.

Лидия попрощалась и пошла. В душе было чувство обиды, какого ни разу не было здесь за все два года, и вся обида была только на себя, словно она сама не только дала повод, но нарочно сидела и ждала, когда он кончит о покосе и скажет то, что он сказал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Но ведь не всякому растению повезло так, как финиковой пальме. Финиковой пальмой может стать каждая косточка съеденного финика, под стеклянным небом посаженная в ленинградский песок.

Где взять споры для древних папоротников? Южная Америка далеко от Петроградской стороны. Из гербария, из отдела, где собраны мертвые, засушенные растения, распятые на бумаге листья, были отобраны споры папоротника, пролежавшие здесь десятки лет. И споры, положенные в почву, ожили, словно в Неве текла живая вода.

По стеклянной крыше оранжерей барабанил дождь. А в оранжереях снова были субтропики, климат рек Замбези и Ориноко, воздух Адис-Абебы и Сайгона, но самым приятным для Хворостовой и родным был теперь климат Мексики, сухой воздух Аризоны в снова застекленной оранжерее, куда возвратились ею вынянченные кактусы. Ею и ее покойным отцом. И то ли кровь многих поколений садоводов, состарившихся здесь (нет, надо отбросить эту антинаучную наследственную теорию), то ли зима, проведенная вместе с неуклюжими, некрасивыми ежеобразными, но самыми теперь дорогими в мире растениями (дороже даже любимой березы), то ли еще что, но она завидовала этим бывшим колхозницам, которые теперь суети-

лись здесь, что-то приносили, что-то уносили и смотрели на нее как на постороннюю, — мало ли их тут ходит, — пришедшую выпросить себе какой-нибудь цветок.

Дождь барабанил по стеклянной крыше, такой нахальный дождь, что казалось, он пробьет стекло.

Два раза собирали стекло, и Ляля висела в люльке на зимнем ветру. Мороз застеклял замерзшей слезой глаза. И когда она висела над деревьями, над домами, было такое чувство, как у птицы, которую схватили в воздухе за оба крыла. Застеклили раз и снова вылетели стекла. Застеклили еще раз, но снаряды разрывались каждый день, обрывая сучья с деревьев. И неужто придется висеть еще раз и прилаживать стекло к стеклу? Ляля не влюбила стекло за то, что оно неудобное, режет руку, за то, что оно хрупкое. И так осточертело стекло, так въелось в печенки, что, наверно, если полетела бы Ляля вниз, падая, по привычке думала бы о стекле, как бы его не разбить. А теперь эти колхозницы с неприветливыми лицами смотрели на нее, словно она пришла сюда украсть кактус или выпросить его у слабохарактерного садовода. Выпросить-то она выпросила, но не кактус у слабохарактерного садовода, а работу у дирекции, а украсть она тоже украла, но не орхидею, а время украла у себя, у своего сна, у своей души и плюнула на свою специальность, на те пять

лет, что училась на строительном факультете проектировать и в душе создавать красивые дома, чтобы потом их строить, плюнула она на все и пришла сюда поливать растения и выносить горшки с цветами, словно Иван Иванович Хворостов не умер, а переселился в нее.

Время в оранжереях, как воздух, плотное, и душа не слышит его шум. Чтобы вырасти, саговнику нужны столетия. Прошла зима и еще одно лето. На вновь вылезших из черной земли пальмах прорезались толстые листья. И Хворостова думала иногда, что если б от нее зависело, то она бы из Зоологического сада перевела сюда колибри, попугаев и привезла сюда из Африки или из Америки птиц, чтобы они здесь пели, так нехватало под этим стеклянным небом птиц.

Время в оранжереях, как воздух, плотное, влажное, его можно потрогать руками, оно как шершавая нежная плоть растений. Цветет банан. Ему два года. Он растет как на острове Ява, даже не подозревая о том, что когда его посадили, во всем городе не было ни одного теплого дома, и чтобы создать необходимое ему тепло, нужно было затратить много своего, человеческого, душевного и физического тепла.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ван-Гог отрезал себе ухо. Ляля рассмеялась. Все на нее оглянулись. Иногда в голову прибежит очень глупая мысль. Не придет, а именно

прибежит. Здесь не было ни одной картины Ван-Гога и не могло быть. Висели картины современных художников. И один из них в ту зиму, когда не было в Ленинграде ни одной теплой комнаты, уж не на льду ли Невы сидел, прямо на ветру, и писал окованной рукой дома, сугробы, автобусы, занесенные снегом.

Даже деревья и те озябли в Летнем саду, а у пешеходов на картине под валенками скрипел снег, как у гражданина в брезентовом пальто, у которого она украла два полена.

И рассмеялась Ляля не тому, что Ван-Гог отрезал себе ухо, вспомнила про эти два полена и как она бежала, а за спиной у нее дышал этот гражданин в брезентовом пальто, лицом своим немножко походивший на Ван-Гога. Ляля любила Ван-Гога, но оттого, что спекулянт походил лицом на него, было смешно. Жалко, что пришла на выставку одна. Не с кем поделиться чувствами или рассказать о том спекулянте, и о том, что у него вместо глаз две ледяшки, а из носа, как у тюленя, протавившего своим дыханием дырку в толстом морском льду, — две струйки пара. Все незнакомые люди. Но Ляля зашла по дороге, совсем не собиралась, увидела белую вывеску из полотна и зашла. Шла и думала, что вдруг увидит какую-нибудь новую или старую картину Челдонова или даже встретит его самого. Хотя глупо было на это рассчитывать, Челдонов ушел копать окопы еще летом 1941 года и после

того о нем не было слышно. И все-таки смотрела на картины и что-то искала глазами. Нет, все Пакулин да Пахомов, Пахомов да Пакулин. Но таково свойство искусства, что забыла Ляля, зачем сюда шла. Ходила вдоль стен, смотрела на коричневые, светлозеленые, синие дома, на то особое, беспощадное небо, небо зимы 1942 года, и словно слышала под ногами скрип. Неужели художник так и стоял с кистью на морозе в январе 1942 года, дожидался, терпел, пока на зимнем небе появится нужный оттенок, пока простуженные деревья не бросят на желтый снег ему необходимую тень. Стоял, мерз, может даже поморозил себе ноги, а все-таки захватил с собой кое-что, сугробы, улицы, деревья, больничную, робкую походку пешеходов, Неву и женщин у проруби, несущих воду в бидонах из-под молока, захватил с собой и донес, чтобы сделать каждого человека хозяином утраченного и минувшего, того, что стало прошлым и не повторится никогда.

Ляля отошла и села на стул. Над ней была стеклянная крыша, как в оранжерее.

Разговаривали два незнакомых человека: один в шляпе, другой с длинной мягкой ассирийской бородой. До Ляли донеслось:

— Убит.

— Где?

— Под Нижней Дубровкой. Собирались устроить посмертную выставку. Да квартиру разбомбило на Моховой. Еще осенью в 1941 году.

Голоса стали таинственными, смутными.

Ляля пошла прямо к ним спросить. Но к чему. Все и так понятно. Погиб и уже так давно. Повернулась и пошла к выходу.

В трамвае было темно. Под ногой дребезжало колесо, словно не было пола, и по ноге пробегало что-то судорожное, как электрический ток.

Пришла домой и легла. Казалось, что ничего не было: только этот нечаянно подслушанный разговор.

За стеной играли на пианино, что-то бурное, и музыка долетала в открытое окно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Незнакомая?

— Ну, конечно. Подошла на Невском ко мне возле Елисеева, подошла и говорит. Я, говорит, иду в больницу, наверно помру. А вам надо жить. Дети, спрашивает, есть? Есть. Ну, вот видите. И ушла. Выкупила я хлеб сразу на два дня. Несу домой и не верю. За что же это мне? Почему? Ведь незнакомая, не родственница. А просто на улице встретилась.

— Курья?

— Ох и правда Курья. Идемте!

Вышли две ничем непримечательные женщины, разумеется обе ленинградки, эвакуированные в Курью. Вышли на остановке, потому

что уже была Курья, и унесли с собой что-то интересное, не досказав о какой-то девушке на Невском зимой 1942 года, отдавшей свою карточку незнакомой прохожей женщине.

Мелькнула в воображении Лиды и эта девушка, и Невский, и обе женщины, что вышли в Курье, мелькнуло в сознании, как полустанок в окне вагона.

Вошел слепой с шершавой книгой, которую, словно пробили гвоздями, — лицо у слепого тоже было шершавое. Сказал Лиде многозначительно:

— Хотите погадаю?

— А сколько за это?

— Десять рублей.

Сгнал трогать концами пальцев страницу, похожую на терку. Приподнял болезненно верхнюю губу, показались два зуба, детских, молочнобелых, словно только что прорезавшихся. Пахло от слепого вагоном, вокзалом, уборной. Сказал:

— Что вас ожидает? А ожидает вас, гражданка, неприятность. Но, конечно, это ничего, заживет. А муж ваш возвратится к вам, но, конечно, по прошествии двух лет с этого дня.

И эта категоричность, особенно в тоне, в интонации, с которой было все сказано, заставило вздрогнуть Лиду, словно слепой в самом деле знал заранее все точно или это было написано в его похожей на терку книге.

— Но должен предупредить вас во избежание недоразумения, а также от сочувствия к вам и к вашему одинокому положению. Есть еще гражданка, которая его поджидает. И намерение у нее, конечно, обыкновенное, чтобы соблюсти свой интерес. Она живет в том городе, в который у вас есть стремление возвратиться. Получите вы в скором времени письмо. Но от кого, сказать не могу вследствие того, что на этом месте кончается страница. Может еще пожелаете погадать?

Лида достала кошелек: десяток не было, а сто рублей — свежая бумажка. Слепой взял сторублевую бумажку и стал трогать ее концами пальцев, а лицо его стало сомневающимся, то ли потому что он не знал, наберется ли у него сдачи, то ли от того, что не верил, что это сто рублей.

— Может пожелаете узнать, от кого получите письмо? Это будет вам стоить десять рублей.

Кто-то рассмеялся.

Лида посмотрела. Сидели широколицые парни, бурильщики из Краснокамска, какие-то девушки смотрели на слепого и на нее. Мелькнуло: может едет кто-нибудь из знакомых, педагоги, школьники. Хотелось, чтобы слепой скорее ушел, а он трогал пальцами сторублевую бумажку, потом спрятал ее за пазуху, раскрыл кожаную сумку, висевшую у него через плечо на ремне, как у кондуктора в трамвае, вытащил

кучу троек и пятерок и стал с сомневающимся лицом трогать их концами пальцев, считать.

В эту минуту Лида увидела на соседней скамейке Елизавету Маврикиевну, та смотрела на нее и на слепого светлыми мальчишескими глазами, и тонкие губы ее были сжаты, как в учительской, когда стоял перед ней провинившийся ученик, видно она была недовольна, что слепой так долго считал свои трешки, и тем, что Лида не нашла ничего лучшего, как гадать в вагоне.

Поезд убавил ход. Мелькнуло множество рельс, вагоны, стоявшие в стороне, в которых жили железнодорожные рабочие, водокачка. Все двинулось к дверям, слепой сунул пачку обветшавших трешек Лиде, сам заторопился. Лида, не считая, сунула трешки в карман, они не вошли в кошелек, и пошла к выходу. В окне показалось здание вокзала Пермь II. Елизавета Маврикиевна уже стояла далеко впереди у самых дверей. Лида нарочно задержалась.

Трамвай уже ушел. Ждать на остановке не хотелось — вся вымокнешь. Дождь звенел. В лужах вспухали и лопались пузырьки. Пахло мокрой травой. Лида встала под навес. Рядом стоял слепой, тот самый, что гадал ей в вагоне. Было скучно стоять и смотреть, как лопались на воде пузыри. Слепой стоял близко, держал в мокрой руке свою книжку. Взять и спросить: какое письмо, когда придет, от кого? Дать десятку и поскорее уйти.

Дождь перестал. Лида пошла. Звеня, ее догнал трамвай. Надо было подождать на остановке. Но ничего. Сквозь промытое дождем стекло трамвая на нее смотрела Елизавета Маврикиевна и не улыбалась, словно не видела ее.

В библиотеке было много народу. Библиотекарша уходила за книгами и подолгу не возвращалась. А Лиде было некогда. Еще нужно на рынок, на почту и в Облово. А в четыре часа на обратный поезд. Что же взять — Гюго, Драйзера, Шолом-Алейхема, что лежат на столе, чтобы не искать. Нет, нужно что-нибудь короткое, современное, про войну, или про Ленинград, чтобы можно было прочесть за час усталым колхозницам, при свете лампы, и даже не за час, а за полчаса. А потом они пойдут спать, чтобы на рассвете подоить коров, выпустить их и потом в поле жать и чтобы во время жатвы им думалось о чем-нибудь необыкновенном, неожиданном, как поступок девушки, которая шла в больницу, предполагая, что умрет, отдала свою хлебную карточку прохожей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Лида смотрела, а Настя нагнулась, сверкнула во ржи серпом и рассмеялась.

— Вы, Лидь Николаевна, палец не оставьте здесь. Мизинец-то. Рожь-то нагибайте малехонько. А то палец срежетя.

А пока говорила и смеялась, уже ушла далеко по Лидиной полосе. Серп сверкал. Лежали снопы. А Лида шла за ней, ждала, когда вернет ей ее серп. Но серп не отдавала, а пела негромко, словно забыла про Лиду.

Отдала серп, побежала и оглянулась, расмеялась и крикнула, как в лесу:

— Ау! Лидья Николаевна! Ловитя! Не поймаетя!

На зеленой горе стояли желтые суслоны, синел лес, прохладный как туча. А где-то далеко, по ту сторону леса, видно шел дождь, туча висела до самой земли и смешалась с лесом.

По дороге шел председатель колхоза Елохов в охотничьих сапогах.

Лида ребром ладони вытерла пот на шее, нагнулась и стала жать. А мизинец боялся, чтоб его не отрезали, зачем только Настя напомнила об этом.

Подошел, поздоровался, поднял Лидин сноп.

— Покрепче стягивайте, Лидия Николаевна. Развяжется, вас колхозники ругать будут.

Постоял, видимо хотел что-то сказать другое. Но передумал. Пошел, широко размахивая левой рукой. И хорошо, что передумал.

Над трубой ЗакамТЭЦ, там, за железнодорожным полотном, в лесу клубилась черная волна дыма.

Солнце хотя висело по-летнему высоко, но, казалось, было близко и от него было жарко, словно тут, в поле, стояла тети Дунина печка,

Лида нагнулась и ставит чугунок с картошкой прямо на огонь. Зноем обжигало брови и глаза. Хотелось пить. Лида отошла к снопу, под которым стоял туяс, оттянула за ручку тугую крышку. Из туяса пахло ягодами, брусничными листьями. Квас был теплый, невкусный, как парное молоко.

Возвращалась с огорода Елизавета Маврикиевна, остановилась, улыбнулась, посмотрела на снопы, на серп, на Лидины загоревшие руки.

— Гляжу, ударница вы, — сказала она и пошла.

И Лида подумала о ней неприязненно, о том, что она никогда не делает больше того, что есть в программе, и что полагается ей делать, но потом Лида подумала, что она может несправедлива к ней, все-таки все, что она делает, делает старательно, добросовестно. Вспомнился тот случай, когда Елизавета Маврикиевна вызвала ее к себе в учительскую после уроков, усадила на стул и, смотря ей прямо в глаза стала говорить, что это, конечно, хорошо, что она рассказывает ученикам на уроке больше того, что есть в учебнике и в программе, но было бы лучше, если бы она этого не делала. Ведь в пятом классе проходят не то, что в шестом, а в шестом не то, что в девятом. Зачем же забегать вперед. Это только может помешать ученикам усвоить то, что им нужно усвоить по программе. Лида стала спорить, разгорячилась и сказала даже, что на ее ме-

сте было бы преступлением жить здесь в деревне и не передать своим ученикам то, что она знает. Тогда нужен один учебник, а не учительница, — сказала, кажется, она ей.

Но Елизавета Маврикиевна не рассердилась на нее и так же спокойно стала не возражать, а требовать от нее. Это ваше дело после урока рассказывать им о постороннем, но на уроке вы должны строго придерживаться программы. Лида расплакалась и заявила, что она напишет письмо в Москву наркому. Письмо она, разумеется, не написала. Но отношения с заведующей у нее стали строго официальными. И на педагогических совещаниях Елизавета Маврикиевна всякий раз приводила в пример Лиде и другим педагогам Евохину, которая ничего не умела добавить к учебнику от себя. И скоро Лида поняла, что она требовала это потому, что у нее была педантичная, ограниченная душа, а не по злему умыслу, потому, что книгам она верила больше, чем людям, очевидно не подозревая, что человек умнее, душевнее и опытнее книги.

Лида посмотрела на горы. Небо над лесом, омытое прошедшим там дождем, блестело. За горами еще были видны горы, синие, сливавшиеся с лесом и далью. Лида любила далекое, любила окна, картины старых мастеров с уходящим в сумерки ландшафтом, книги, на каждой следующей странице которых должно случиться что-то внезапное, чудесное, от чего заранее становится душно и колотится сердце, где-то

возле самого горла, как на верхушке стремительно и круто убегаящей вниз горы.

Есть люди, которым не нужны глаза, и они, как слепой, гадавший в вагоне, трогают жизнь пальцами, и она кажется им бедной и шершавой, как терка. Им не нужна даль, горы, лес, ничего, кроме того, что можно потрогать руками. Как удивительно, что на каждом, самом простом, обыденном человеческом лице, на лице бухгалтера, как будто ни о чем не подозревающего, кроме своих цифр и балансов, на лице грубоголосой кассирши, выбивающей билеты на пригородный поезд, на каждом лице есть глаза, похожие на кусочки синеющего вдали леса. Надо думать, что всякая душа, даже душа педантичной Елизаветы Маврикиевны, включает в себя не только то, что рядом, но и горы, лес, со всеми пихтами, и все, что по ту сторону железнодорожного полотна. Несомненно, это так.

Неся тяжелое вымя, как-то боком шли по дороге коровы. Закат был малиновый, как тети Дунино стеганое одеяло.

На скамейке перед своей избой сидел Парфен Иваныч с газетой. На носу у него были косые старые очки в никелированной оправе и газету он держал от себя далеко, вытянув руки.

Лида смущенно поздоровалась и посмотрела на свои босые грязные ноги.

— Гитлеру-то и подштанники некогда переодеть, — сказал Парфен Иваныч и поглядел на Лиду поверх очков.

— А что?

— Гонят за Днепр.

Прижимая коленями ведро, тетя Дуня доила корову. Струи молока ударялись о дно ведра. Анфим в военной форме, в хорошо начищенных сапогах задумчиво стоял на крыльце.

— Завтра уезжаю, Лидия Николаевна, — сказал он негромко.

— Как? Уже совсем?

— Да.

Помолчал.

— Зайду вечером проститься. Ведь утром с коровами выйду в шесть ноль ноль. Вы, наверно, будете еще спать.

— Быстро как отпуск прошел. А?

— Да, лето здешнее коротенькое.

— Когда, интересно, встретимся, Анфим?

— А встретимся ли?

— Почему же нет?

— Мало ли почему? Ну хотя бы потому, что вы вернетесь в Ленинград, как только снимут совсем блокаду. А война ведь не через месяц кончится, Лидия Николаевна. Вот хотя бы потому.

Лида повесила серп. Вытерла нос Гаде.

— Какая ты грязнуха, Галя. Что за ребенок. Кушать хотите?

— Конечно хотим, — ответил угрюмо, как большой, Ваня.

— Сейчас. Только схожу на речку, помоюсь.

Речка неслась по камням. Вода была студеная, как в колоде. Острая галька колола ногу. Лида оглянулась. Сняла прилипшую к телу кофточку, присела по-бабьи в воде и, словно сердце кто сжал льдом, вскрикнула не то испуганно, не то радостно и выскочила на берег. Тополь на берегу возле Парфеновой бани стал смутным, слегка таинственным, как на старинной картине.

Над тем местом, где днем стояла кирпичная труба ЗакамТЭЦ, показалась луна. Она то скрывалась в густой волне дыма, то появлялась. В Краснокамске на нефтепромыслах, на заводах и в ТЭЦ люди не спали, они работали день и ночь,

Бедные ребятишки уснули, пока она ходила, Галя на стуле, положив голову на руки, а руки на стол, Ваня скорчился на скамейке. Поставила на стол кринку с простоквашей, но подумала: стоит ли будить детей.

Раздела спящих, разула, и поддерживая рукой головку и спину, положила детей на кровать. Разделась сама — и под одеяло. Грудь была, как чужие, холодные от реки, от недавнего купания. В окно глядела краснокамская луна, словно большой фонарь, по ошибке подвешенный к нефтяной вышке. Задремала незаметно и, словно где-то внутри себя, услышала стук. Тихо постукивал кто-то пальцем в дверь. Соскочила, накинула платье, открыла. В дверях в светлой половине стоял Анфим и улыбался.

— Извините, Лидия Николаевна, за ненужную тревогу. Проститься пришел.

— Это через порог-то? Зайдите сюда или я в вашу половину.

Но так и стоял он в светлой половине, она в темной своей.

— Может встретимся в Ленинграде?

— Отчего же нет?

— А я фамилии вашей не знаю. Лидия Николаевна, да Лидия Николаевна. А фамилии-то не знаю.

— Запишите, моя фамилия Челдонова. Тетя-то Дуня знает.

— Челдонова?

Помолчал.

— Со мной в одной роте тоже был Челдонов, младший лейтенант. Однофамилец или свойственник? А?

„Господи, — подумала Лида, — господи“.

Каким-то не своим голосом вскрикнула:

— А звали, звали как? Жив? Где?

— Не упомяну, как звали. Среднего роста, сутулый. А сейчас его номер части не знаю. Перевели от нас. Ну, прощайте, Лидия Николаевна.

В светлой половине заплакала тетя Дуня.

— Прощайте, пишите за маму письма. Не забывайте. Ну пока!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Елохов, сын председателя колхоза, в классе нарисовал домик, дерево и лошадь, везущую большой воз сена по закрытой снегом дороге. Он срезал концы ног у лошади, чтобы было впечатление, что лошадь провалилась в снег и что снег только что выпал. Над деревом он нарисовал ворону, которая собиралась сесть на голую ветку, раскрыла клюв и крикнула по-зимнему, простуженно, беззащитно. Под картинкой написал: „Зима, 1944 год“.

А за окном снова была зима, снег, третья Лида зима на Урале.

Частенько приходилось ездить в Молотов или ходить пешком в Краснокамск, над которым носился кисло-сладкий запах, словно хозяйки открыли кадку с маринованной брусникой или грибами. Это был запах нефти и еще чего-то, Лида не знала чего.

Елизавета Маврикиевна потихоньку выжидала ее из школы. За что, Лида сама не могла понять, то ли за то, что Лида не послушалась ее, на уроках истории читала ребятам Овидия, или ирландские саги, рассказывала содержание Тристана и Изольды, а на уроках русского языка показывала им толстые книги, которые привозила из городской библиотеки, показывала репродукции с картин Кипренского, Федотова, Сурикова, Левитана, то ли за то, что хвалила детские, неправильно нарисован-

ные рисунки и не поправляла их, то ли за что-то другое, за угрозу написать письмо в Москву. Но пришлось Елизавете Маврикиевне замолчать и даже похвалить Лиду, сжав губы, на общем собрании родителей и педагогов. Комиссия из Облоно признала лучшим не только в школе, но и во всем районе Лидин класс. О чем ни спрашивали члены комиссии, дети подымали руки и отвечали бойкс, разумно, и за ответами чувствовалось, что знают они еще больше. Слова они произносили правильно, литературным языком. Вот за это и пришлось Елизавете Маврикиевне похвалить Лиду на собрании и Лидин класс и в это время смотреть на Лиду светлыми мальчишескими глазами и даже улыбаться Лиде. И странное у Лиды в это время было чувство: хотелось встать и сказать — ведь только вчера вы говорили совсем другое.

Секретарь краснокамского райкома партии товарищ Черемных приглашал Лиду к себе. Они подолгу беседовали о колхозных нуждах, о школе, о читках зимой в избе-читальне, о стариках. Смеялись острым стариковским словечкам и замечаниям и в разговоре, как в поле, синела даль. Поговорив о том, что близко, они оба увлекались и говорили о далеком — Леонардо да-Винчи, картину которого Черемных видел в Эрмитаже перед войной, о музыке Чайковского, и Лида вспоминала октябрьские праздники, кажется в 1932 году,

на Невском в окнах висели пейзажи Клода Лоррена, Рюисдаля, испанцы, итальянцы, голландцы, принесенные из Эрмитажа, а пешеходы останавливались и смотрели сквозь стекло. Падла хлопьями снег. И сквозь снег они смотрели долго, стояли, как никогда бы не стояли в Эрмитаже, и Лида тоже остановилась, долго стояла на холоде и смотрела на эти картины, будто видела их в первый раз. Черемных слушал, улыбаясь. И вдруг Лида краснела и вспоминала, что она уже рассказывала об этом раньше.

В поезде и на дорогах с ней здоровались люди и, здороваясь, улыбались, как улыбаются только знакомым.

Но жизнь была трудна, временами печальна. И в такие минуты, чтобы не думать о себе, Лида заставляла себя думать о других.

В шесть часов утра ехали подростки-ремесленники в Молотов на заводы. Они зябли. Им хотелось спать, но спать было нельзя, они заставляли себя не спать.

И когда Лиде было очень трудно, она старалась думать не о себе, а о других.

На всех фронтах советские войска гнали немцев. Это было потому, что каждый делал то, что надо, для того, чтобы победить.

Надолго запомнится это утро. Лида шла в Краснокамск. Итти было легко.

Было такое чувство, что все это—и черные пихты на белом, слегка синевшем снегу, и дорога,

тугая, замерзшая, облитая конской мочой, и обледеневшее солнце в синих, чуть розовевших тучах, и скрип из-под валенок, и обжигающий губы и веки мороз, и пар из носа, отчего прилипала шаль к губам, — все это было как в первый раз и никогда не случалось раньше.

Показалась нефтяная вышка на замерзшем болоте и лиственницы с рыжими ветвями в одну сторону, на юг. Кланялись низко насосы глубокого качания, подымались и снова падали ниц. Среди пней стояли двухэтажные и трехэтажные длинные деревянные дома с множеством труб на крышах. А рядом с домами кланялись насосы и выкачивали из-под домов нефть. И не подозревала Лида, что в домах был праздник, какого еще за три года не было в этих длинных неуютных домах. Какая-то женщина выбежала навстречу Лиде непричесанная, взволнованная, и крикнула:

— Вы ленинградка?

— Да. Ленинградка.

Поцеловала теплыми губами прямо на морозе Лидин обледеневший рот.

— Немца прогнали от Ленинграда. Блокаду сняли. Сейчас передавали приказ.

И, позабыв о Лиде, побежала дальше.

Холодное утро перешло в день, не по-зимнему яркий, теплый.

На рынке бабы стояли возле бутылок с молоком, ходили небритые люди и предлагали папиросы.

Но Лиде все казалось другим: и дома, и люди, и бутылки с молоком, и к огромной радости примешивалось что-то тревожное: разбитый дом на Моховой и муж.

Секретарь райкома товарищ Черемных был занят. А в библиотеке ей напомнили, что за ней шесть книг и пора бы их вернуть.

Дни были короткие. После школы надо было постирать, наколоть дров, помыть ребятишек в бане, не успеешь дойти до дому, а уж вечер. Лампа погорит час-два, и фитиль уже начинает коптить. Придут тетя Дуня и Парфен Иваныч. Тетя Дуня вяжет, а Парфен Иваныч сидит, курит, смотрит, как Лида проверяет тетрадки. Видно ему хочется что-нибудь рассказать, да стесняется помешать Лиде. Сидит и курит.

— А есть в Краснокамске, в библиотеке, Лидья Николаевна, — спрашивал он, кашляя, — такая книга, которую сам граф Лев Толстой писал сорок с лишним лет?

— Нет. Нету.

— Я же, наоборот, слышал, что есть. А каждую страницу этой книги граф-то Толстой сверял. Позовет народ к себе в комнату, чаю каждому поднесет сам с сахаром и зачитает страницу. Ну, народ, скажет, понравилось кому что, кому не понравилось. А он сам из-под бровей смотрит, строгий. Кто так зря говорит или похвалу бормочет, не подумав, того он за дверь. Правду любил. Лес опишет какой или

так себе речку, птиц каких-нибудь. И в поле идет сверять, так ли птицы поют. Потому сорок лет и писал, что крестьяне написанное поправляли. Книга по слухам добрая, ничего книга. Нам ее нельзя сюда привезти почитать? Или залог большой спрашивают?

А тетя Дуня зевает, ждет, когда Парфен Иваныч уйдет, сидит и сидит, спать ведь надо.

Утром постучался толстым пальцем в стекло Петр Тихонович и заглянул в избу. Лида увидела через мутное стекло бороду, широкий нос и письмо в руке. Так и хотелось выскочить к нему в окно. Письмо было ей, Л. Н. Челдоновой. Почерк женский, незнакомый. Нетерпеливо посмотрела на подпись в конце письма. Е. Хворостова. Странно!

Писала какая-то девушка из Ленинграда, работавшая в Ботаническом саду. Писала как знакомая. Спрашивала про детей и даже называла их по имени. Сообщала о том, что у нее сохранилась картина Челдонова, остальные, кажется, погибли вместе с квартирой на Моховой. В письме было что-то недосказанное.

Лида подумала: так пишут вдовам.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В 1834 году жители Санкт-Петербурга приезжали в карете на Петроградскую сторону в Ботанический сад — взять какое-нибудь долготное южное растение, закутать его, если это

происходило осенью, и увезти куда-нибудь на Измайловский проспект, или на Фонтанку, на второй или третий этаж в свою квартиру. И суждено было стоять этому квартирному растению, расти, цвести в гостиной, слушать сплетни, до тех пор, пока девушки не станут бабушками, пока бабушек не увезут на Волково на сонно перебиравших ногами лошадях, пока не появятся новые девушки и снова не станут бабушками.

И в 1934 году люди приезжали на Петроградскую сторону в Ботанический сад, но уже в автобусе или на трамвае почти с той же целью — взять какое-нибудь южноамериканское или африканское растение и увезти его к себе в отдельную или в коммунальную квартиру.

И в 1944 году на Петроградскую сторону в Ленинградский ботанический сад приходили ленинградцы, но с другой целью. Они приносили сюда редкие растения, пронеся их сквозь блокаду, сумев сберечь от снарядов и зим в обледеневших домах. Сколько же ленинградских квартир стало на время блокады и войны отделением Ботанического сада?

Ляля любила Миклуху-Маклая. Еще в средней школе, когда она читала его книгу о папуасах, она почему-то подумала, что все эти волосатые пальмы и орхидеи он привез в Петербург на каком-то огромном специально построенном корабле. Покойный папа, Иван

Иваныч, смеялся своим глухим, вязнувшим в усах и густой бороде смехом (папа тогда еще носил бороду). Не существовало в мире еще такого корабля, на котором можно было привезти Ленинградский ботанический сад. Но ведь насколько даже средний корабль бол. ше обыкновенной ленинградской квартиры. Бедный папа! Ведь он сделал то, что, возможно, не сумел бы сделать сам Амундсен, если бы он поставил себе целью сберечь все кактусы мира, где-нибудь в Гренландии. У него могли быть дрова, керосин, запасы свинины и спирта, а у папы не было ничего, кроме двухсот граммов хлеба и любви к своим кактусам и к своему городу, где кактусы еще могли пригодиться. Но папа, оказывается, был не один.

Как жаль, что потолки строили в домах, приравливаясь к человеческому росту. Погибла австралийская Атания — самое высокое дерево Ботанического сада. Как жаль, что не во всех квартирах у сотрудников сада стояли печки, — у многих было паровое отопление и они не могли спасти растения у себя на квартирах. Как жаль, что папа не любил фотографироваться и ненавидел фотографов неизвестно за что, не осталось ни одной его фотографии, ни одной карточки, кроме той маленькой, что была на паспорте и в союзной книжке, но на ней он был непохож на себя.

В Ботаническом саду было тихо. Где растения, стекло и садоводы, там тишина. И теперь

можно было не беспокоиться и за стекло, и за растения, и за тишину, и за садоводов. Тогда можно было посмотреть и на сады, и на Неву, (не так, как в прошлом году, не на ходу), сходить в театр, пойти в книжную лавку, купить книг. Люди покупали книги и зимой 1942 года, несли их домой в холодные квартиры, умирали за книгой или с карандашом в руке. Зимой 1942/43 года даже в самые страшные морозы и обстрелы торговали книжные магазины, и уличные букинисты, синие, с такими же мутными глазами без белков, как и у покупателей книг, топтались на снегу возле книжных полок. Но Ляля не покупала книги. Ей тогда было некогда. А те книги, которые у ней были, она сожгла.

В книжной лавке книгам на полках нехватало места, они лежали и на полу. Ляля не собирала книг, но и ей хорошо было знакомо это детское чувство: незнакомая обложка, а за ней что то набегающее, как в окне вагона знакомый с детства и полузабытый пейзаж.

Миклухи-Маклая не оказалось на этих полках. Удивительный человек был Маклай, родился где-то возле Боровичей, а поселился на Новой Гвинее и учился у папуасов папуасскому языку. Может быть, смотря на мохнатые пальмы, живые и неожиданные, как рука обезьяны, он где-то в глубине души думал о милой белой русской березе и чуточку тосковал по ней.

Иван Иванович, папа, не был путешественником, за всю свою жизнь он не бывал нигде дальше Кавголово и Сестрорецка, но и он почти всю жизнь прожил в тропиках и субтропиках, под стеклянным небом, и остался верен своим кактусам, как Миклуха-Маклай своим „дикарям“.

Еще студенткой первого курса Ляле довелось как-то побывать в Демидовом переулке, 8, в доме, где на стене висел огромный портрет Крузенштерна, а по лестнице некогда подымались Пржевальский, Грум-Гржимайло, и сердце у Ляли сжималось от предчувствия чего-то необычайного, словно вот сейчас к ней навстречу выйдет в белом тропическом шлеме сам Миклуха-Маклай.

Весь дом был как корабль. Даже библиотека. Полки устроены так, чтобы книги во время качки не могли свалиться на пол. Вот вот и дом поплывет куда-нибудь к берегам Чукотки вместе со всеми лестницами и кабинетами, вместе с большим залом, где сидят седые люди и какой-то полный человек, похожий на мистера Пиквика, делает научный доклад.

Интересно, стоит ли еще этот дом в Демидовом переулке или он уплыл куда-то в детство, к берегам Камчатки или к Сандвичевым островам.

Но мысль унеслась далеко. У Ляли в руках уже был журнал по искусству. По страницам словно пробежал ветер, и стало вдруг тре-

можно как в тот час, когда она остановилась на Моховой, где стоял его разбомбленный дом.

Маленькая репродукция с его картины, с той самой, возле которой она познакомилась с ним. На журнале стоял тот самый год. На картине ничего особенного — дерево и небо.

Она и пришла сюда для того, чтобы найти этот журнал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

У Парфена Иваныча на дворе пенилась, кипела, цвела черемуха. Прилетали пчелы, и одна пчела укусила Лиду в верхнюю губу. В классе у школьников в глазах, как зайчик, что-то кричало — не то смех, не то веселое нетерпение, за окном было такое лето, небо, солнце какого не бывало еще никогда. Укушенная губа и нос запухли, изменились, и Лида чувствовала, что у нее сейчас незнакомое, смешное лицо и нельзя с таким лицом говорить то, что она говорила, а говорила она о любви, о Евгении, о Медном всаднике и о том, как Евгений пробежал, ища глазами дом. ...

И думалось почему-то о Моховой и о том, что она вернется скоро в свой город, но как ей будет тяжело смотреть на этот опустевший дом, на свою повисшую в воздухе квартиру, где все его вещи, все работы, все, к чему он

прикасался, все, что любил, превратилось в пыль, в заваль.

И в голосе Лидином было должно быть столько грусти, когда она рассказывала об Евгении, о том, как

...он остановился...

*Глядит... Идет... Еще глядит,
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива, были здесь ворота,
Снесло их видно. Где же дом?
И полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.*

Столько волнения, что школьники догадались, почувствовали, что, читая пушкинские слова, она переживает что-то глубоко личное, свое, и им может быть стало жалко ее, — в классе была тишина.

Вечером подул ветер. Пахло пихтами. Ис черемухи сдунуло ветром лепестки, трава стала белой.

Встретилась Настя.

— Здравствуйтя, — улыбнулась. Как изменилась она, похудела. Прошла быстро и скрылась за домом.

Пели девушки. Когда стемнело, пришел поезд. Но Настиного голоса не было слышно среди их голосов. Насте было не до того. Ело-

хова взяли в армию. И председателем колхоза теперь была она.

Утром Лида выглянула в окно. Гора была наполовину синяя, наполовину розовая и двигалась, играла, и солнце было размазано по всему небу, а по дороге бежали овцы к железнодорожному полотну, но где-то близко уже стучал поезд, и Лида подумала, успеют ли они перебежать насыпь до того, как поезд подбежит, поезд пробежал и овцы заметались, и одна кинулась под колесо. „Уж не тети Дунина ли“, — с тревогой подумала Лида.

Овца принадлежала Парфену Иванычу. Сбежались колхозники. Парфен Иваныч поднял овцу и понес к себе во двор. Она билась еще у него в руках, дрожала, и густая кровь была у Парфена Иваныча на сапоге и на траве возле сапога. Тетя Дуня затопила печку, а Парфен Иваныч во дворе узким ножом снимал шкуру с овцы, и шкура снималась легко, словно была только надета на овцу. От вздрагивающего тела овцы шел пар.

А дети, Ваня и Галя, стояли и смотрели с любопытством.

— Ваня! Галя! — позвала их Лида домой.

К вечеру Лиде удалось выбрать время, сесть у изгороди у подножья горы, а на траве лежали тюбики с акварелью и по ним ползали муравьи. Хотелось передать не только синевший лес и крутоподымающуюся сторону горы со стоящими вкось пихтами, а нечто большее,

то есть все, что было связано с этими местами три года, которые Лида здесь прожила. Но то ли она разучилась передавать на бумаге пережитое, то ли никогда не умела. Вспомнилась Академия и Васильевский остров, зимняя Нева в больших окнах, сдержанный профессор, известный художник, который отчего-то добрел, когда останавливался возле нее и глядел через плечо на ее работу. Позже, много позже, когда она уже совсем стала домашней хозяйкой, Челдонов привел профессора к себе показать свои работы. Профессор рассеянно посмотрел на стены, чего-то ища глазами. Лида догадалась, чего он искал, и готова была провалиться сквозь землю оттого, что догадался и Челдонов. Профессор искал глазами Лидины работы и не хотел смотреть на холсты Челдонова, потому что он любил Лидин талант, а Челдонова считал посредственностью, и Лида боялась, что профессор это скажет, но профессор сделал еще хуже — он ничего не сказал, надел шапку и ушел.

Конечно, он был пристрастен к ней и несправедлив к Челдонову. Челдонов верил в себя, в свой талант и в свое право писать с натуры, а у Лиды на плечах было хозяйство и заботы, которые она снимала с него, чтобы он мог писать.

Уже возвращались коровы. Лида подняла с земли тюбики, чтобы корова не наступила на краски тяжелыми ногами. Собственно бе-

лый лист, который она выпросила в Краснокамске, остался незаполненным, если не считать легкого силуэта горы и пихты, стоящей косо. Все, что она хотела передать, осталось с ней и в ней, ведь она же не художник и это так и должно быть.

Глупо, нельзя узнавать время по возвращению коров с поля. Лида опоздала. Собрание уже началось. И в открытые окна сельсовета был слышен голос Насти. Она делала доклад, Лида села рядом с тетей Дузей. А напротив сидела Сергеевна и с удивленным лицом смотрела на Настю. Сергеевне видно трудно было привыкнуть, что Настя теперь председатель колхоза, и она смотрела на нее, словно сомневалась в чем-то, сомнение было на ее тяжелом мужском и не по-женски удивленном лице.

Ах, что за молодчина Настя! Какая она умница! Она ставила вопрос так, что если все не выйдут на покос, даже школьники, то это будет беда.

И слово „беда“ звучало так больно, так лично, что у каждого было чувство, что может что-то случиться непоправимое, но оно не случится, если все послушают председателя и выйдут косить.

В голосе Насти были гневные нотки, когда она говорила о тех, кто любит прикидываться больным, и она посулила тем, кто будет отлынивать, написать на фронт фронтовикам:

„они кровь проливают, гонят Гитлера, а вы что же делаете, а? Какая от вас помощь?“

Вопрос она ставила правильно, категорически, так, как если бы от того, что все или не все колхозники выйдут на сенокос, зависеть будет все, а главное уйдет Гитлер за Неман и очистит нашу землю или нет, не уйдет.

— А косы-те кто будет отбивать? — крикнул кто-то.

— Это можно, пожалуйста, — взял слово Парфен Иванович. — Косу и я тебе могу отбить. Если, конечно, ты меня попросишь об этом. Понятно вам или нет?

Косить вышли все, даже Сундукова. Настя ходила довольная, Парфен Иванович сидел, подложив под себя ноги, и отбивал косы.

Время измерялось взмахом косы. Лида собирала сено граблями. Солнце обжигало плечи. На спине что-то беспокоило, что-то сухое, постороннее, не то забрался муравей, не то насыпалось сено за рубашку. Возле дороги уже стоял высокий квадратный зарод.

Петр Тихонович с письмами и газетами приезжал прямо на покос. Шел он как-то нерешительно, и вид у него был такой, словно ему было досадно, что здесь нет окна, и он не может постучать в стекло пальцем.

Лиде он передал конверт, запечатанный сургучной печатью. В конверте письмо от Хворостовой из Ботанического сада (уже третье письмо) и какая-то бумажка с печатью.

— Уж не вызов ли? — спросила тетья Дуня.

— Кажется, да.

Подошла Настя и спросила грустным голосом:

— Уезжаете от нас Лидия Николаевна, скоро?

— Да нет, не завтра, Настя. Я еще поживу.

А сердце билось рывками, тревожно, и все, и трава, и гора, убегающая вверх, и ель, возле которой, подпрыгивая, суежилась с граблями тетья Дуня, все уже казалось как из окна вагона в поезде, который вот-вот отойдет.

Парфен Иваныч, склонив голову набок, отбивал косу Сундуковой, и легкий звук прыгал то здесь рядом, возле ног Сундуковой, в траве, то где-то далеко за горой и в лесу, и от этого далекое становилось близким, а близкое далеким оттого, что прыгал этот замечательный живой и быстрый звук.

— Если захочешь, — сказал Парфен Иванович, передавая Сундуковой ее косу, — можешь даже бриться. Понятно тебе или нет?

— Я не мужик, — рассмеялась игриво Сундукова. — Я без бороды.

— Ну, ну. Чего стала? Сегодня такое время: что-нибудь надо одно: или косить или шутить. Я так ставлю вопрос, — сказал Парфен Иванович.

— Правильно ставишь, — согласились бабы.

Возле оврага было прохладно. Блестел узкий ручеек, выглядывая из-под сучьев. На

кустах висела зеленая, ещё твердая смородина. Овечьи следы в засохшей грязи. Лида зачерпнула ладонью воду. На дне ладони словно лежал и таял кусочек льда. Какая-то тоненькая птичка порхнула крыльями возле самого уха, села и закачалась вместе с веткой только мгновение, потом нырнула в воздухе и скрылась. Может в траве у нее было гнездо. И Лида возвращалась осторожно, боясь наступить на гнездо.

Июнь прошел, как один большой солнечный и хлопотливый день. Забот прибавилось. Надо было обшить ребят, да и себя привести в порядок. Не ходить же по Невскому в порывшей от солища юбке.

Как-то утром приковыляла тетьа Дуня с криком:

— Осподи, что же делается, а?

И вывела Лиду за руку во двор. И когда вела за руку, у Лиды в сознании мелькнуло: уж не натворили ли там чего Ваня с Галей у тети Дуни на огороде или оставили не закрытой калитку и впустили в огород Парфеновского козла.

Возле огорода толпились бабы и охали. Черемуха, еще веселая, зеленая вчера, сегодня сморщилась за одну ночь и стояла, вся опутанная пылью и паутиной, и на ней не было не только ни одного цветка, но и ни одного листика. Все за ночь съели откуда-то взявшиеся червяки. И червяки эти ползали еще

по живым ветвям, покрывая все как известью, чем-то белым, мертвым, а рядом с черемухой стояла береза с зелеными листьями, и на ней не было ни одного червяка.

— Чего же это будет? — спросила тетьа Дуня Лиду. — К несчастью какому или так?

Но в это время подошел старик Елохов, рассмеялся, схватил с ветки червяка и потрогал его.

— Зря тоскуете, бабы. Этому червяку похвальную грамоту присудить надо. Большой, предсказывает он, в этом году будет урожай. А черемухе-то ничего. Она отойдет. Я на своем веку это видывал четыре раза. Большой ноне надо ожидать урожай.

Лида поехала в Молотов оформлять пропуск.

В городе она задержалась недолго. В комнату начальника того отдела областной милиции, где выдавали пропуска, хотя и была очередь, но очередь шла быстро, и Лида, получив уже заготовленный заранее пропуск, вышла на солнечные улицы. Воздух гудел от рева моторов. Но в небе не было ни одного самолета. Гудело оттого, что где-то недалеко стоял завод, где испытывали авиамоторы. Временами сотрясали воздух пушечные выстрелы. Это испытывали пушки на пушечном заводе. Лида знала это с тех пор, как приехала сюда, что каждый пушечный вы-

стрел означает, где-то уже готова новая пушка.

В вагоне опять к ней подошел тот же слепой с книгой и предложил погадать. И Лида поймала себя на сильном желании погадать еще и узнать, совпадет ли новое предсказание с тем, что сказал слепой раньше. Но ей вдруг почудилось, что слепой трогает немытыми пальцами не книгу, а ее, Лидину, душу.

Неделя, которую Лида положила себе на сборы, уже близилась к концу. Уже были связаны, сложены, обшиты мешками вещи, и на них химическим карандашом были написаны фамилия владельца и ленинградский адрес, нет, не Моховая, где у Лиды не осталось ничего, кроме воспоминаний, а Карповка на Петроградской стороне, квартира Е. И. Хворостовой, где Лида предполагала остановиться на первое время, пока не получит жилплощади. Только на первые два-три дня.

Каким милым, дорогим казалось теперь все, что должно было остаться здесь: и чистая половина тети Дуниной избы с огромной печкой, и окно, в которое видна гора, круглая посредине, а потом вдруг крутая, острая, с синей заплатой леса и с желтой заплатой полей, и даже труба ЗакамТЭЦ с огромной волной дыма, и все избы, бани, изгороди, кусты, тропинки.

И вот Лида уже везла вещи на станцию, озабоченная и чуть огорченная всем предсто-

ящим и в то же время довольная, радостная.

С крыльца своего дома на нее смотрел старик Елохов, трогая свою белую бороду длинными пальцами, толстый, похожий на прасола, в длинной, как кафтан, рубашке, смотрел и шурился и видимо что-то даже сказал, но Лида не разобрала что.

Лошадь бежала резво. Вещи прыгали и били тетю Дуню по ее деревянной ноге.

— Черемуха-то, а, — сказала тетя Дуня, — в нашем-то огороде во второй раз цветет.

— А у Парфен Иваныча?

— Тоже. Старик-то не соврал.

И Лида подумала, что в хлопотах она даже не заметила, что черемуха цветет второй раз в течение одного лета, но ей сейчас не до того: нужно достать билет и сесть с детьми и вещами в поезд, который на этой станции будет стоять всего пять минут.

Пришли Лиду провожать школьники и даже старики. Бабы принесли ей вареные яйца, ягоды, столько ягод, что их будет не съесть. Небо было темное, с синим тревожным светом. Раздался сухой раскат грома, стало душно, и вдруг кто-то заплакал глубоко, искренне. Лида по голосу узнала Настю и поцеловала ее в мокрые губы, но не успела проститься с Сергеевной и тетей Дуней, как подбежал поезд. Не сразу

нашли вагон, втокнули детей и уже на ходу бросали вещи. Лида посмотрела на провожатых — блеснуло и раскатилось грохоча, поезд шел уже во-вею, и все осталось позади сразу, а в открытую дверь теплушки синело темное небо. По крыше вагона забарабанил дождь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

На каждом растении дощечка. На ней латинское название. Возможно, что русские женщины, недавно еще работавшие в колхозе, поливая растения, называют их по-своему, по-русски, по-деревенски. Их связывает с этими растениями нечто большее, чем время и обязанность, их связывает страдание. Они поливали их в 1942 и 1943 году, когда воду надо было носить в ведрах из Невы и когда в Ботаническом саду звенело стекло, оттого что снаряд разрывался возле оранжерей.

На земном шаре около четырехсот тысяч видов растений, и еще не создано такое стеклянное небо, под которым они были бы собраны все. Но в детстве Ляля думала, что эта участь всех тропических растений — быть занумерованными и стоять с латинским названием, от которого всегда пахнет аптекой (и как они только не засохнут от этих названий), и только русским деревьям — осине, березе, сосне, иве, рябине, калине — суждено свободно расти и цвести.

Ей помнится, как она приходила к отцу в оранжерею. Растения спали. И казалось не спал только кувшинчик, а дремал и переваривал свою пищу.

Окоченели саговники, погибли, как погиб бы слон на льду Чукотки.

Но сколько растений удалось сберечь, сохранить, и сейчас они цвели.

Под открытым небом рядом с кленами стояли растения Японии и Индо-Китая. Их выставили сюда в горшках или временно пересадили, лето обещало быть теплым, сухим.

А в той оранжерее, где когда-то стояли жирафоподобные пальмы, трогавшие своей верхушкой стекло потолка, теперь был детский дом, ясли для детей-пальм и детей-папоротников. Молодые растения росли буйно, казалось даже заметно простому глазу, как на картинах Ван-Гога. Пройдет несколько лет, и ленинградец потянет на себя обжигающую морозом дверную ручку и прямо из зимы войдет в тропический лес.

Ляля привела сюда брата Жоржку, приехавшего с фронта на два дня, и, пожалуй, жалела о том, что привела. Жоржка шел и смотрел с каким-то недоверием на все эти растения, и легкая усмешка была на его губах. Вероятно он думал в это время: да, конечно, все это интересно, но ведь в мире, и в Ленинграде особенно, много более важного, существенного, чем все эти орхидеи. И вероятно много

есть в Ленинграде людей, которые ни разу за всю жизнь не бывали в Ботаническом саду и от этого не стали хуже.

И если это был бы не Жоржка, другой, она бы стала возражать, рассказывать о том, что сам Петр I, практичнейший и самый дальновидный из людей своего века, приказал создать Аптекарский огород, из которого и вырос впоследствии ленинградский Ботанический сад, и что в гербарии есть растения, собранные и засушенные лично Петром I, и что во время блокады Ботанический сад снабжал огороды города рассадой, а аптеки и госпитали аптекарскими растениями. Все бы это она сказала, если б это был не ее брат Жоржка. Но с Жоржкой, с братом, она не умела спорить, и ей всегда казалось, что она права, а он не прав.

— Пойдем-ка лучше пить чай, — сказала она.

— Отчего ж, — ответил Жоржка, чтоб сделать ей приятное. — Еще посмотрим.

Пили чай не в столовой, а в Лялиной комнате, и Жоржка посматривал на картину Челдонова: почему она уцелела, когда не осталось ни одной из других висевших еще с детства картин.

В прихожей, дребезжа, зазвенел звонок. Ляля выскочила и возвратилась с телеграммой.

— От одной женщины, — сказала она. — Едет в Ленинград с детьми. Я ее решила пустить

к себе на время. Ей и остановиться-то негде. Дом разбомбило.

— Учились вместе? — спросил Жоржка.

— Нет. Жена одного знакомого. — Помолчала. — Челдонова помнишь?

— Художника-то? — нахмурился Жоржка.

Он вспомнил последнюю их встречу и как Челдонов попросил остановить машину и вышел, а машина пошла. Рассказывать об этом Ляле не стоит, начнутся расспросы, упреки, и выйдет так, что Челдонов погиб из-за него, а может он живой. Но даже, если он и погиб, в мыслях у Жоржки ничего не изменилось по отношению к нему: художник и только, и вероятно очень задавался, что талант, а талант или нет — судить не мне, ну а если даже талант, так что?

Ляля вымыла комнату, в которой будут жить Лида и дети. Заняла у соседей стулья, — придут, некуда будет сесть. Купила в комиссионном этажерку. Комната не должна была выглядеть пустой. И уже не в первый раз подумала: интересно какая она, эта Лида — высокая, с красивым, замкнутым, неподвижным лицом и с холеными пальцами, как у кассирши в Гастрономе, что на углу улицы Кирова и Большого, или скорее всего коротконогая, с воспаленными глазами и суетливой мыслью: что где дадут и нет ли знакомого в тресте столовых?

Через два-три дня она должна уже быть здесь.

Ляля подходила к стене, на которой висел пейзаж Челдонова, смотрела и не могла решить, убрать ли картину, или оставить висеть.

Ей самой было неясно, как поступит она, заговорит ли с Лидой о ее муже и о тех неясных в сущности чистых отношениях ее, Ляли, к Челдонову, неопределенных, но которые, даже если говорить об этом словами, опошлятся, станут определенными потому, что ей не удастся найти нужные слова. И как она будет говорить об этом, о чем она даже не хотела часто додумывать до конца, с какой-то кассиршей с неподвижным лицом или с коротконогой гражданкой, у которой воспалены глаза и суется в голове, не дает покоя промтоварная мысль, и которая устроит, конечно, скандал в сущности за что? За то, что Ляля любила Челдонова и скрывала это от него, а он к ней относился как, вероятно, относится ко многим своим знакомым молодым девушкам.

Накануне того дня, в который она предполагала, они приедут, Ляля позвонила на Московский вокзал. Ей ответили, что поезд, с которым возвращаются в Ленинград эвакуированные, теплушечный 505 или 503 и твердого расписания у него нет, можно только предполагать, что придет он вечером следующего дня.

В эту минуту, когда Ляля собиралась выйти из дома и поехать на вокзал, встретить Лиду,

в передней задрезжал звонок. Ляля левой рукой зажгла свет, а правой открыла дверь.

В переднюю вошел и бросил вещи человек в брезентовом пальто, тот самый, у которого она украла два полена, ледяшки-глаза смотрели, как в замочную скважину, на ногах были не валенки, ботинки, по случаю лета, но раздался скрип знакомый, унылый точно на полу уже был снег. Остановился посреди передней и через плечо Ляли заглянул дальше в комнаты.

— Что вам надо? — спросила Ляля.

— Мне? — И усмешка поползла, и показались редкие зубы.

Но в эту минуту вошла незнакомая женщина и тоже с вещами и двое детей. И у детей в руках тоже было по маленькому узлу. У женщины было растерянное выражение лица, она посмотрела на Лялю и вдруг сказала:

— Мы должно быть не туда. Скажите, где квартира Хворостовой?

Ляля не сразу ответила, что Хворостова это она.

— А вы кто? Случайно не Лида?

И это „случайно“ прозвучало не к месту, глупо, но откуда же она могла знать, что поезд придет раньше, чем его ожидали на вокзале, а Лидины вещи принесет гражданин в брезентовом пальто. И оттого, что он пришел сюда, прямо на квартиру, в том же брезентовом пальто, а под ногами у него закрипело,

когда он сделал несколько шагов, или оттого, что по лицу ползла усмешка, как тогда на рынке, у Ляли в груди перехватило дыхание, словно в то мгновение, когда она выхватила у него из подмышек дрова, а он вот стоял здесь, точно на свете не существовало времени или время не двигалось, а стояло на одном месте.

— Вот что, — сказал гражданин в брезентовом пальто не то Ляле, не то Лиде, не то им обеим. — Придется пятиалтынный набавить. Понятно?

— За что же это? — спросила Ляля.

— Эта гражданка говорила в первом этаже. А какой же это первый? — Усмешка опять поползла. — Разве только что первый от крыши.

— Я же это не знала, к тому же я кажется и так не мало... — Лида взглянула на Лялю, отчего-то сконфузилась и стала доставать из сумки деньги.

— А мне это ни к чему, что ты не знала. — Человек в брезентовом пальто перешел сразу на „ты“. — Мне ваше — что Володе вашему каша. Володей мальчика-то или как зовут его? Пятиалтынный придется прибавить.

— Это еще что! — сказала Ляля. — Раньше дровами спекулировал, а сейчас с людей шкуру драть, с жены фронтовика. В милицию сведу.

— В милицию сведешь? — Усмешка ползла, ползла медленно, а глаза-ледяшки смотрели, трогали Лялю. — Интересно.

— Сведу, — сказала решительно Ляля. —
Расстреливать таких, как ты, надо.

— Вы, гражданка, свои слова маленько
придержите. А то как бы другое не получи-
лось, не то, что вы думаете.

— Землю своим существованием позорите.
Паразит! — кричала Ляля.

Но он сделал несколько шагов к ней. За-
скрипело.

— Веди! — крикнул. — Ну, что? Дрова то
кто у меня украл? А? Кто?

И, оттолкнув Лялю, пошел прямо к вы-
ходу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В Городское бюро по распределению рабо-
чей силы Лида пошла не одна, а вместе
с Лялей.

У людей в коридоре было ожидание на
лицах. И Лялю даже слегка знобило за Лиду.
Говорили, что направляют на торфяные раз-
работки за город, на лесозаготовки, и это еще
хорошо, если направят в строительный трест.
Лида за дверь пошла одна, попросила Лялю
обождать. Вышла с тем же спокойным лицом,
с каким вошла.

— Ну что? — спросила нетерпеливо Ляля.

— В строительный трест.

— А вы разве не сказали, что вы учитель-
ница?

— Нет. Да и зачем? Он говорил со мной заранее зная, что я буду его просить, что он послал по специальности. Все просят. Потом он разговаривал круто, защищаясь от меня. А я не стала просить, хотела, но не стала. „Ведь надо восстанавливать город“, — сказала, ожидая что я отвечу. „Надо“, — ответил я. Ну и все. Получила наряд в строительное управление Ленсовета.

— Табельщицей?

— Нет. Чернорабочей.

Ляле стало неприятно. Лидино спокойствие может она не подозревает, что это такое.

— Это очень тяжелая работа. Очень, — сказала она. — И возвращаться с работы вы будете поздно. А уйги, перевестись оттуда будет нелегко.

— Да, — ответила тихо Лида и застенчиво улыбнулась. — Но сейчас уже поздно, — и показала наряд.

„Равнодушная, — подумала Ляля, — или, еще хуже, слабохарактерная“.

Ее почему-то удовлетворила эта мысль и от этого Лида сразу определилась в сознании ее, стала скучной, заурядной.

Возвращалась с работы Лида поздно, с осунувшимся лицом, вся в извести, в глине. Ездить ей приходилось почти на Охту, на двух трамваях и работа, судя по ее усталому голосу, по тому, как она раздраженно разговаривала с детьми, была тяжелая, напряженная.

Ляля ждала с каким-то даже нетерпением, что Лида наконец расплачется, признается, что поступила необдуманно, оплошно (зачем она тогда пошла одна, а ее оставила в коридоре), и будет просить ее, чтоб она похлопотала за нее, пошла бы в Гороно, где вероятно есть нужда в школьных работниках, что дальше это невозможно.

Ляля мысленно ставила себя в Лидино положение, она бы, конечно, тоже не стала жаловаться, ныть и просить, чтоб ее перевели туда, где полегче, но ведь то другое дело — это она, Ляля, видевшая и пережившая нечто неизмеримо более трудное, чем восстановительная работа, она, Ляля, а не эта худенькая маленькая женщина с испуганными глазами, прожившая эти три года где-то на Урале, в глубоком тылу, и, судя по ее словам, в очень сносных, даже слишком сносных условиях.

Прошло три недели, и эти двадцать дней показались Ляле длинными, как три месяца. Ляля думала, что Лиде не пришлось даже посмотреть свой город, о котором она вероятно тосковала там, в глубоком тылу, на Урале, посмотреть как следует, не спеша на работу или с работы, не через стекло трамвая, а как следует, со скамейки Летнего сада или во время вечерней прогулки на острова. Выходные Лидины дни были заняты детьми, баней, стиркой, уборкой.

Ляля ждала Лиду, но жалость к ней была

смешана с другим, странным чувством: ведь ты же сама пошла на это. И не может она, Ляля, пойти хлопотать за нее в Гороно, раз она об этом не просит.

„Нет, не слабохарактерная, — думала Ляля, — а пожалуй равнодушная к себе и к другим.“

И оттого Лида в ее сознании стала еще более скучной, невзрачной, безталанной, а где-то в глубине сознания мелькало: такую ли жену нужно Челдонову, самобытному, умному, — такую ли жену, как Лида?

И оттого, что это мелькнуло в сознании, стало Ляле неловко и хотелось сделать что-нибудь неожиданное, хорошее именно для Лиды и для ее детей, пойти в Гороно или в Горбюро и добиться, чтоб Лиду перевели на другую работу.

Пейзаж Челдонова висел на той же стене, как и до приезда Лиды. Не было никакого сомнения, что Лида сразу же узнала руку своего мужа и, разумеется, вспомнила, как он писал эту небольшую картину, как она висела у них на Моховой и может те обстоятельства, как эта картина вдруг исчезла, и те слова, которые Челдонов, по всей вероятности, сказал ей, чтоб объяснить исчезновение картины: „продал“ или „подарил товарищу“, скорее последнее — „подарил товарищу“. Но так случилось, что не оказалось времени для такого рода разговоров, разговаривали вечером, после того как Лида возвращалась с работы, о неот-

ложных бытовых делах, есть ли керосин для примуса, что случилось с дымоходом и много ли выгорело электроэнергии за последние дни и надо не забыть набрать на ночь воды, будут ремонтировать водопровод.

На стройке, где работала Лида, обвалились балки, двух работниц тяжело ранило, а Лиду чуть не убило бревном, но об этом Ляля узнала не от Лиды, а от девушек-печников, работавших вместе с Лидой и пришедших к ним посмотреть, отчего испортился дымоход.

Ляля подумала о Лиде обиженно, недовольно: скрытная и кажется неблагодарная.

Шли дни. Однажды вечером Ляля пришла поздно с совещания, не звонила, чтобы не будить Лиду, открыла дверь ключом и на цыпочках, чтобы не шуметь, прошла. Донеслось всхлипывание: кто-то в Лидиной комнате плакал. Несомненно, Лида, кто же еще? Плач был приглушенный, искренний, за ним чувствовалось большое, настоящее горе.

Ляле стало жалко Лиду, и странно — к жадости примешалось что-то постороннее, досадное, похожее на удовлетворение: ну, что ж, созналась наконец, что трудно, что переоценила свои силы, что надо было сразу проситься, чтобы перевели.

Ляля не знала, что Лида плакала потому, что ее перевели с Охты и послали на Моховую восстанавливать дом, в котором она прожила пятнадцать лет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Какими живыми, одушевленными были дома, деревья, Нева. Лиде удавалось взглянуть на все это мельком, с площадки трамвая или из разрушенного окна пустого обветшалого дома. Но все это было и там, на Урале, в деревне, в ее душе, — только смутное, не совсем реальное. И вот теперь это все было живое, веселое, в своей какой-то особой, не меняющейся красоте, до каждого дома можно было дотронуться рукой, с каждым человеком поговорить, поругаться, посмеяться. И мало ли что некогда, что нужно носить кирпичи и доски, убирать и выносить на носилках заваль, измятое ржавое железо, остатки чего-то, мало ли что уставали и ныли от работы плечи, болели руки, город был здесь весь рядом, близко, возле глаз, и возле бьющегося еще тревожно сердца, улицы, изломанные дома, и все же веселый, именно веселый, такой, как всегда.

В шесть часов Лида выходила из дому. В предутренней сырости окна и огни в окнах качались, словно в Неве. Скрежетали трамвайные колеса. И все делалось далеким.

В этот день Лида возвращалась с работы грустная. Завтра утром ей не надо уже будет ехать на Охту двумя трамваями, завтра утром она придет на Моховую, в тот дом, в котором она жила пятнадцать лет, а дальше будет то же как и на Окте, она будет носить кирпичи и

Остатки чего-то, что было бытом, что окружало людей, что превратилось в пыль, в лохмотья, в мусор.

Утром к восьми часам она пришла. Дом стоял темный, с пустыми окнами, непохожий на тот дом, в котором она жила. Зачем она не отказалась, не попросила чтоб ее оставили на Охте. Вот она поднялась по заваленной кирпичом лестнице и остановилась в дверях, за которыми три года тому назад... И вдруг стало тихо-тихо, сердце билось рывками возле горла, — что, если за дверью тот же уютный мир, который она оставила там, на стенах его пейзажи, шкаф с книгами, которые он читал, мольберт, на котором он работал, а на гвозде у зеркала его мохнатый, как полотенце, халат. Она долго стояла на площадке перед дверью, потом переступила через порог.

Она сделала широкий шаг, но успела схватиться за балку, пола в прихожей не было, вниз летело пустое темное пространство, как во сне. Ничего не осталось, кроме зеленой стены, хоть бы одна его вещь, все превратилось в заваль.

Потом она услышала голоса, веселые женские, и один чужой голос мужской. По лестнице, очевидно, поднимался прораб и подсобницы, и вдруг тишина оборвалась и словно полетела вниз в темноту, в уши ворвался шум улицы, смех, покашливание, показался прораб, высокий, с усами, интеллигентный, — может объяс-

кить ему, попросить, чтоб ее послали на другой объект, но что-то удержало Лиду и вместе с подсобницами она пошла убирать мусор.

Подсобницы перебрасывались шутками, смеялись, разговаривали о чем-то своем, о бороде прораба и что ему приходится ухаживать за своей бородой и усами, жена у него артистка, поет в Михайловском, а сам он больше похож на врача или на музыканта.

Лида посмеялась вместе с ними не один раз за день, поговорила о буфете, о том, что надо написать в „Ленинградскую Правду“, — кофе горячий, как следует, но нехватает кружек, стула ни одного, после работы хочется сесть и поесть сидя, а тут стой, да еще заденут, толкнут и прольют кофе на ноги.

— А где же стульев-то набраться? — вмешалась бригадирша. — Стульями печки топили.

Пришел прораб, постоял, посмотрел, как они работали, подошел к бригадирше и что-то ей стал тихо говорить. Когда он ушел, бригадирша сказала как будто между делом.

— Отдыхаем мы, девушки, часто. Так нам и норму не выполнять. Израиль Нотанович недоволен. Кто будет плохо работать, того обратно на Охту пошлет глину месить.

И Лида уже до семи часов ни разу не присела, ей казалось, что замечание прораба и слова бригадирши относились не к другим, а к ней одной.

День прошел. Лида возвращалась домой пешком, в душе мелькнуло то же ощущение, что утром, когда она остановилась перед дверьми своей разбомбленной квартиры, ощущение тишины, которая шумит в ушах и бьется, как пульс.

В этот вечер Ляля и услышала, как плакала Лида. Подошла сзади на цыпочках и обняла.

— Ведь я же говорила, — утешала она. — Но ничего, ничего. Все уладится. Ничего.

На следующий день Лида работала в своей бывшей квартире, перебирала остатки пола и за печкой нашла совершенно целый его бритвенный прибор. Вспомнила, как он брился перед зеркалом и зеркало, и как они заводили каждую вещь, как он приходил сюда (она жила здесь одна, спимая комнату), но это было раньше, и как он однажды пришел бледный и она подумала, что оттого, что не было денег и он не обедал со вчерашнего дня, а оказалось, что где-то что-то сказали о его работах, и что у него нет ничего своего, а все от Петрова-Водкина и французов. И она тогда рассмеялась: какая чушь! Какая велепость! Как много раз за их совместную жизнь, смеялась она в таких случаях, убеждая его, в чем не всегда была убеждена сама.

Лида стояла на лестнице. На площадку выходили двери соседних квартир. Вот здесь жила старушка Хана Осиповна, любившая рассказывать про своих сыновей: один был зубной

врач, а другой арктический летчик. А здесь жила большая жизнерадостная семья Бубновых, в новый год они устраивали шумные детские праздники с елкой, плясали так, что дрожал потолок. Все они были в доме, когда упала фугаска. А сейчас здесь ничего. Только стены и пыль.

И опять глубоко личное чувство ненависти к немцам, к немкам наполнило Лидину душу, она подумала: Как хорошо, что она вернулась в свой город и не пошла на другую работу, а пришла сюда на Моховую в свой дом и отсюда не уйдет, пока не восстановит его. Когда носишь кирпичи и разбираешь пол, то видишь, какого труда стоило людям построить дом, и чувство изумления охватывает, когда подумаешь, сколько улиц в Ленинграде, сколько домов, дворов, этажей, окон, деревьев и сколько люди отдали труда, ума, сметки, чтобы все это создать.

Когда Лиде было трудно, когда от тяжести сгибались колени и руки готовы были разжаться и отпустить носилки с кирпичами, она думала о людях, которые построили город, и об этом доме, каким он был раньше, и сжимала руки до боли, чтобы не выпустить носилки с кирпичом.

И все же ей казалось, что бригадирша недовольна ее работой, что прораб Соловейчик посмотрел на нее с жалостью и подумал: хилая, зачем только присылают таких?

В субботу Лида пришла с работы на час раньше.

В дверях ее обняла Ляля и поволокла в комнату.

— Мама, — сказала Галя, — тебя с работы сняли.

— У, какая, — погрозила Ляля, — сразу все и выложила.

На столе лежал новый наряд на работу в среднюю школу Фрунзенского района, выданный Горбюро на имя Челдоновой Лидии Николаевны.

— Это тетя Ляля выхлопотала, — сказал Ваня.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Сколько раз ее обозвали нахалкой за то, что она вне очереди, делая вид, что ей назначено, входила в двери, в которые каждый из стоявших и сидевших в коридоре хотел бы войти, сколько ей пришлось выслушать отказов, выдержать взглядов, возмущенных и насмешливых взглядов секретарш, сколько раз ей пришлось убеждать работников Горбюро, что гражданка Челдонова больная, почти нетрудоспособная женщина, жена одного из самых талантливых современных художников и к тому же фронтовика, во-первых, а во-вторых — эта самая Челдонова — замечательная учительница, превосходный воспитатель, и в то

время как в школах нехватает квалифицированных педагогов, она таскает кирпичи (много ли она может поднять, ну, кирпич, ну, максимум, два, уж от силы три кирпича). И что разумеется ошибка, которая произошла по вине их сотрудника, должна быть исправлена. (Ну хорошо, если вы требуете замены, пошлите меня вместо Челдоновой, я здоровая, молодая. Родственница ли? Нет. Просто знакомая. Пошлите меня вместо нее. С дирекцией сада я, думаю, договорюсь.)

И когда она получала отказ, она отказывалась уходить, сидела или стояла, видно желая добиться своего измором. И вот добилась.

Она положила этот наряд не в сумку (из сумки могли вытащить в трамвае), а в специальный карман, сшитый еще во время блокады по совету отца, куда она прятала в те времена хлебные карточки. Она ждала Лиду, посматривала на часы в столовой и на свои ручные часики (которые отставали), подбегала к дверям на случайные звонки, запретила детям говорить Лиде, чтобы та узнала не сразу, а погадала немножко, и произошло то, чего она, Ляля, не могла ожидать. Лидка отказалась. Она расплакалась, тронутая, обняла Лялю и все-таки отказалась. И пришлось нести наряд обратно в Горбюро.

Конечно, она сама, Ляля, тоже поступила бы так, как Лидка, и отказалась бы, но, во-первых, она была молодая, здоровая девуш-

ка, физкультурница, и у нее не было детей, а, во-вторых, она прожила в Ленинграде две блокадных зимы и два раза вместе с другими стеклила большую оранжерею (это немножко потруднее, чем убирать мусор и носить кирпичи), но дело в том, что это было глупо и бестактно отказываться, особенно после того, как новый наряд был получен с таким трудом, и Лида, вероятно, отказалась на зло ей, желая что-то, видимо, этим доказать. Что? Что она лучше Ляли, мужественнее, настойчивее. Хотя бы и так, ну и что из того?

Ведь она тоже бы не стала отказываться, если бы ее посылали даже на торф, но она не стала бы отказываться не потому, чтобы кому-то этим досадить и что-то доказать, а просто оттого, что отказываться от тяжелой работы и проситься на легкую стыдно.

В отношениях Ляли с Лидой казалось ничего не изменилось. Лида так же приходила с работы и усталым голосом разговаривала на необходимые и неотложные темы, о том, что засорился примус и надо будет его отнести в мастерскую продуть, а у электрического чайника, как нарочно, испортился шнур. И Ляля так же отвечала, тем же жизнерадостным, громким, сочным, студенческим голосом. И думалось Ляле: „Какой у этой женщины узкий умственный горизонт, она умеет разговаривать только о близком и плоском, о чайнике, о примусе, о бане, о том, что можно достать рукой или

куда легко доехать на трамвае. Неужели и с му-
жем она разговаривала только о необходимом
и неотложном?"

Тут же являлось и оправдание, которым
ничего нельзя оправдать: ведь не одна она
такая, таких, как она, много.

Ничего из того, что происходило там, на
стройке, не долетало сюда в квартиру Хворо-
стовых, словно не ученицей плотника работала
там Лида, а счетоводом, и ей не о чем было
рассказывать.

Дети были хороши, как всякие хорошие
дети. Приятно было смотреть на них и их не-
сложные занятия, как они хмурились, как
что-нибудь брали своими круглыми ручонками,
как зевали, широко раскрыв пухлый рот, как
бегали по комнате, как называли все по-сво-
ему, когда смотрели в окно на улицу, и от-
того все, что творилось на улице, становилось
по-детски милым, забавным.

Весело было их слушать, когда они по-
своему, по-детски истолковывали что-либо.
Даже тогда, когда они ябедничали друг на
друга, плакали, дрались, несколько не раздра-
жало Лялю.

Она любила их за то, что они дети, за то,
что они жили у нее, за то, что она привыкла
к ним.

И потому они казались ей меньше, чем
были на самом деле.

Уже была зима. На ветру, на морозе было

очень трудно, наверное почти невыносимо работать Лиде. Ну и что ж, она это выбрала сама.

Надежды, что Челдонов все-таки жив, что придет от него наконец какая-нибудь весточка, у Ляли почти не было. Но иногда вдруг до того отчетливо, осязаемо она мысленно видела его возвращение, неожиданный приезд и даже жест, которым он снимает фуражку, и горькую складку возле губ.

Как она поступит (словно заранее было известно, что он поступит, как захочет она)? Могло быть одно из двух: или она, Хворостова, откажется, отдаст его, как отдала хлебную карточку какому-то подростку, и тогда Лида была так ненавистна, что трудно даже было думать о ней; или она не найдет в себе сил убить любовь к нему, и тогда она ненавидела себя и презирала. И она думала, что лучше ненавидеть и презирать Лиду, но невозможно жить и ненавидеть себя.

Лида действительно не любила говорить с Лялей о своей работе. Жаловаться на трудности? Для чего? Для того чтобы Ляля сказала: „Что же вы хотите, чтоб я во второй раз пошла в Горбюро?“ Хвастаться успехами? Лида вообще не умела хвастаться, да и было ли чем. Работала не хуже, но и не лучше других. Прораб Соловейчик, кажется, был доволен ее работой, а может и нет. Случалось, хвалил, ставил в пример, случалось — обещал отослать обратно на Охту.

Но если и хотелось иногда поговорить, то не о себе и о своей работе, а о доме. Дом стал другим. Уже давно все, что напоминало Лиде о прожитой жизни, о ее квартире, было вынесено вместе с остатками пола. Все было переделано. Дом стал другим.

И думала Лида, что слово „восстановление“, которое так часто употребляют в газетах и на собраниях, являет точный и свежий смысл только для тех, кто восстанавливает сам. Восстанавливаются не старые, разрушенные дома, квартиры, а создаются новые на старом месте. В сущности невозможно восстановить старое в буквальном смысле этого слова, потому что все в жизни неповторимо, и никогда не повторится прежняя Лидина жизнь с Челдоновым, студенческие годы, а начнется что-то новое, даже если он вернется домой. Вот об этом ей иногда хотелось поговорить с Лялей. Но так само собой получилось, что между ними не возник личный интимный разговор. Мешало что-то и стояло между ними как невидимая, но плотная стена. А может и не надо было разрушать эту стену признанием и разговором по душам. Может быть лучше, чтоб эта стена пока стояла между ними.

И все-таки наступил день, в который Лида верила, который ждала.

Она позвонила. Открыла дверь Ляля и отпрянула с каким-то незнакомым выражением лица.

— Мама, — выбежала Галя и бросилась к ней. — От папы письмо.

Письмо подала Ляля. Нераспечатанный конверт с множеством печатей.

„Дорогая Лида, — прыгали первые слова письма... — Дорогая Лида... Дорогая Лида...“

Письмо давно уже искало Лиду по Уралу, по Ленинграду и наконец нашло ее.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Глава первая	3
Глава вторая	8
Глава третья	15
Глава четвертая	18
Глава пятая	21
Глава шестая	24
Глава седьмая	26
Глава восьмая	32
Глава девятая	44
Глава десятая	49
Глава одиннадцатая	54
Глава двенадцатая	59
Глава тринадцатая	66
Глава четырнадцатая	75
Глава пятнадцатая	82
Глава шестнадцатая	85
Глава семнадцатая	90
Глава восемнадцатая	93
Глава девятнадцатая	98
Глава двадцатая	100
Глава двадцать первая	103
Глава двадцать вторая	107
Глава двадцать третья	115
Глава двадцать четвертая	120
Глава двадцать пятая	125
Глава двадцать шестая	136
Глава двадцать седьмая	143
Глава двадцать восьмая	148
Глава двадцать девятая	153

ЛМ 9903

1945 г.
 Акт № 849
 Введен л.

Л30 $\frac{\Gamma-1}{404}$